



СКАЗАНИЕ ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ * ГЕОРГИЙ ГУЛИА



ГЕОРГИЙ
ГУЛИА
*
СКАЗАНИЕ
ОБ
ОМАРЕ
ХАЙЯМЕ



Георгий Дмитриевич Гулия у надгробья Омара Хайяма, воздвигнутого на его родине в Нишапуре.



Георгий
Гулиа

СКАЗАНИЕ
об
ОМАРЕ ХАЙЯМЕ



Р о м а н

МОСКВА,
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1975

P2
Г94

Художник Борис ЖУТОВСКИЙ

Консультант
доктор филологических наук
Н. ОСМАНОВ

Г $\frac{70302-224}{078(02)-75}$ 148—74

© Издательство «Молодая гвардия», 1975 г.



ЧИТАЮЩЕМУ
ЭТУ
КНИГУ

Время меняет все: оно сильнее песчаной бури в пустыне, с ним даже не сравнится мощь океанского прибоя. Его особенность заключается в том, что действует оно исподволь. Когда спит весь мир, когда утихают бури и прибои — не спит только Время: его сила в постоянном бодрствовании и великой работоспособности. Оно даже сильнее огня, который так обожал Зороастр, или Заратуштра*. Может быть, в Ахримане — начале всяческого зла и тьмы — и заключена часть грозной силы Времени. Об этом еще надо подумать, освежив в памяти все, что говорили зороастрийцы-огнепоклонники в письменах своих.

Время способно низвергнуть большой город и возродить к жизни

* Зороастр, или Заратуштра — мифический пророк. Предание приписывает ему создание религии древних народов Ирана, Средней Азии и Азербайджана — зороастризма

ни незаметное поселение. Так, например, случилось с некогда великолепным Нишапуrom и некогда жалким Ноканом. Последний сделался столицей нынешнего Хорасана — Мешхедом, а первый — простеньким городком, главная достопримечательность которого — могила Омара Хайяма. Не будь здесь этой могилы, что бы случилось с Нишапуrom?! Едва ли спасли бы его даже копи, в которых добывается знаменитая бирюза.

Кого после этого может удивить утверждение, что господин Рахмат Даштани неузнаваемо изменился? Он уехал в Париж цветущим человеком — молодым львом, а вернулся в родной Нишапур стариком. Он был богат и славен и превелик умом и ученостью. Но что он сделал за свою жизнь? Чем прославился? Во имя чего копил он знания свои? И на что потратил деньги, доставшиеся ему от родителей? Теперь это уже вопросы праздные и представляют лишь частный интерес для людей, живущих в переулке Моштаг. То есть для ближайших соседей господина Даштани.

Я с трудом обнаружил переулок Моштаг, проплутав по улицам Алиов и Арк, Фирдоуси и Даран и трижды пройдясь по узеньким Мар-Мар и Чахар-рах. Мало кто знал дом господина Даштани — этого анахорета-добровольца. Мне сказали, что юность свою провел он в этом городе, учился здесь же, потом в Мешхеде и Тегеране. Господин Асефи — смотритель мемориала Омара Хайяма — наговорил о нем много любопытного и очень советовал побеседовать с ним. Не преминул также сказать и несколько слов о странностях Даштани. Самая главная из них — затворничество. И неизбежная любовь к Омару Хайяму. Что общего между аскетом и блистательным жизнелюбом Хайямом?

Рахмат Даштани в свое время покинул Тегеранский университет и поступил в Сорбонну. Прожил в Париже

без малого сорок лет и, подобно Хайяму, вернулся в родной город.

Я все-таки нашел Рахмата Даштани. Пожилая служанка, оказавшаяся азербайджанкой из Решта, несколько оттаяла, услышав мою не очень связную азербайджанскую речь. Я заявил, что не уйду, пока не увижу господина Даштани. Вдруг появился и сам хозяин дома. Он был высок, сухощав и сед, с большими черными глазами. И, я сказал бы, при полном параде: белоснежная рубашка, модный галстук, серый костюм из материала, именуемого, кажется, «тропикаль».

Он протянул тонкую, холеную руку и провел меня в тесную гостиную, затемненную металлическими жалюзи. И тотчас же перешел на чистейший русский язык. Я ему тут же высказал все, что думаю о Нишапуре, об Омаре Хайяме, об ученых трактатах и поэзии его.

Служанка принесла нам чаю.

— Сколько у вас времени? — спросил меня господин Даштани.

— Если речь идет о Хайяме — сколько угодно, — так сказал я.

— Вы о нем много прочитали книг?

Я ответил господину Даштани: почти что все, что есть на свете (это была неизбежная в ту минуту гиперболизация). Он улыбнулся.

— В таком случае, — сказал он, — я не буду касаться книг. Совсем не буду. Я расскажу о том, что удалось мне установить по старинным рукописным фрагментам и народным преданиям. Может быть, вам это пригодится.

Говоря откровенно, я был вне себя от радости: это как раз то, что мне особенно необходимо!

— Первое, — сказал очень тихо господин Даштани, — Омар Хайям был Человек. — И сделал долгую паузу.

По-видимому, это банальное утверждение было высказано неспроста. Я слушал внимательно.

— Не надо делать из него ни пьяницу, ни трезвенника, ни аскета, ни ловеласа в стиле французских романов прошлого столетия. Он был такой же, как все мы: холодал и голодал порою, жил прекрасно порою, много думал и много работал. Но при этом успевал и любить. Кого? Я бы сказал так: Человека вообще. Может, вы спросите: а любил ли женщин? Я скажу вам: да, и очень! Вы в этом убедитесь из моих рассказов. Учтите: в двадцать семь лет Омар, сын Ибрахима, по прозвищу Хайям, то есть Палаточник, был уже известным ученым и статным мужчиной.

И он стал рассказывать...

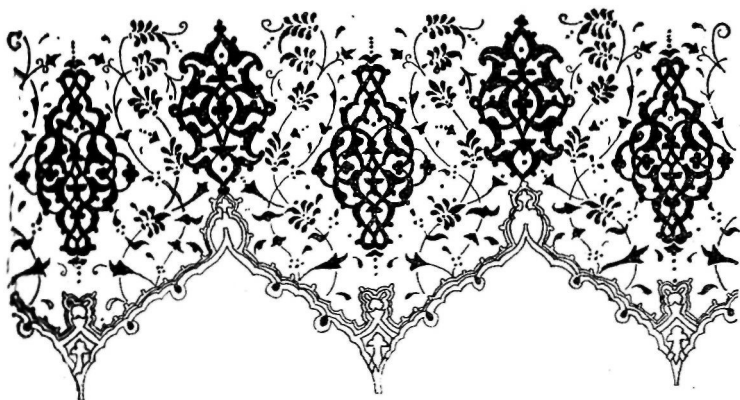
Я записывал самое главное конспективно, чтобы уже там, в Тегеране, в «Парк-отеле», расшифровать и расширить по памяти свои записи.

Наш разговор затянулся до вечера. Но не закончился. Наутро я снова посетил господина Даштани. И мы снова долго, долго беседовали. Точнее, я слушал его, время от времени прерывая вопросами... И я потерял счет времени и выпитым чашкам чаю...

Эта книга в некотором роде следует рассказу Рахмата Даштани. Выражая ему свою благодарность, я отнюдь не хочу перекладывать на него недостатки повествования. Эти недостатки — мои недостатки, и я несу за них полную ответственность. Тот, кто знаком с биографией великого иранского поэта и ученого, знает, сколь скуден фактический материал, а жизнь его, я бы сказал, необъятна. Один в Исфахане месяц — май 1092 года, — о котором рассказывается здесь, мне кажется, в какой-то степени подтвердит это.

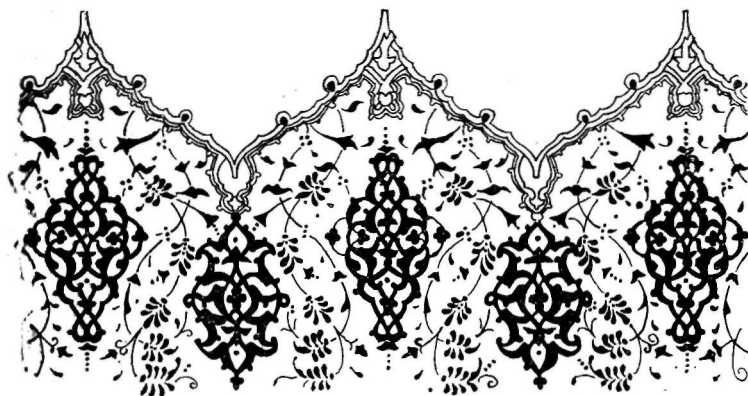
Нишапур, май 1973 года

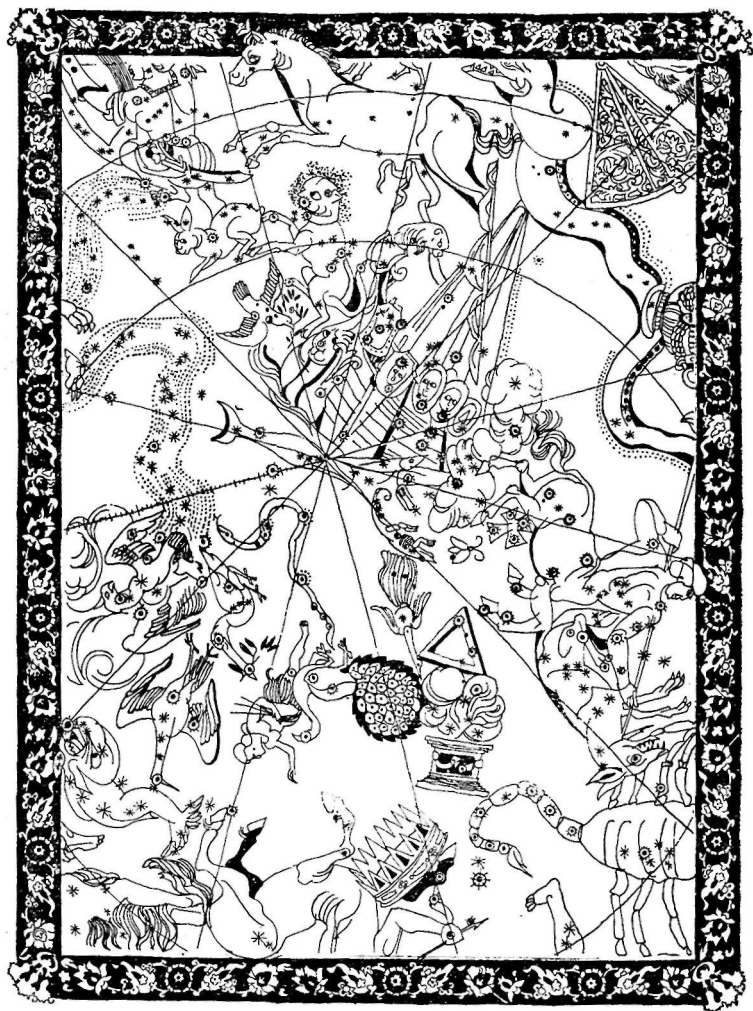
Г. Г.



СКАЗАНИЕ ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ

роман







I

ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О СЛУЧАЕ, КОТОРЫЙ ПРОИЗОШЕЛ
В ИСФАХАНЕ ВОЗЛЕ ДОМА
ОМАРА ХАЙЯМА

В глухую калитку постучали то ли булыжником, то ли кулаком, крепким, как булыжник. Хозяева явно мешкали, не торопились открывать дверь непрошеному пришельцу. Оставалось сломать запор. Молодой человек огромного роста и атлетического телосложения близок был к этому. По-видимому, он знал, на что идет в это раннее утро.

Но калитка вдруг приотворилась, и грубый голос спросил:

— Кто ты?

— Неважно, — был ответ. — Скажи лучше, кто ты сам!

Привратник — а это действительно был привратник — вышел на улицу. Крепко сбитый раб-эфиоп в голубом халате из грубой, дешевой ткани. Лицо его было черное. Руки тоже черные, а ладони белые, точнее, розовые.

— Мое имя Ахмад, — сказал привратник, подбоченившись.

Молодой человек криво усмехнулся. И спросил:

— Твое место здесь или там, в доме?

— Здесь, — ответил привратник.

— Мне нужен твой хозяин. Я знаю его имя: Омар эбнэ Ибрахим.

— Что же дальше?

— Он, говорят, ученый...

— Тебе все известно?

— Да, мне известно больше, чем ты думаешь.

Эфиоп блеснул огромными глазами и как бы невзначай показал свои жилистые руки, которыми в пору гнуть железо на подковы. Однако руки эфиопа не произвели никакого впечатления на разгоряченного пришельца.

— Деньги — еще не все! — вскричал он.

— А при чем тут деньги?

— А при том, что твой хозяин сманил мою девушку, посулив ей золота и серебра.

— Плохи твои дела, — заметил Ахмад невозмутимо.

— Это почему же?

— Зачем тебе девица, которая живой плоти предпочитает мертвый металл?

— Неправда! Он купил ее, купил бессовестно!

Ахмад спросил:

— Ты уверен, что она здесь?

— Да!

— И ты знаешь ее имя?

— Еще бы! Звать ее Эльпи. Ее похитили на Кипре и привезли сюда обманом. И он купил ее! — Молодой человек потряс кулачищем. — Раз ты с мощною — это еще не значит, что тебе все дозволено!

Эфиоп несколько иного мнения насчет мощны и «все дозволено». Он, видимо, не прочь пофилософствовать на этот счет. А может, и позлорадствовать. Подумаешь, какая-то Эльпи?! А сам он, Ахмад? Что он, хуже этой Эльпи? Разве не купили самого Ахмада на багдадском рынке? Если уж сетовать, то сетовать Ахмаду на свою судьбу! А Эльпи что? Ей уготована прекрасная постель, и кувшин шербета всегда под рукою. Не говоря уже о хорасанских благовониях, аравийских маслах и багдадских духах! Ей что? Лежи себе и забавляй господина!

— Как?! — воскликнул влюбленный. — И ты, несчастный, полагаешь, что ей все это безразлично?! Или она любить не умеет! По-твоему, она существо бездушное?

Эфиоп прислонился к глинобитной стене. Скрестил руки на груди и окинул влюбленного полупрезрительным, полусочувственным взглядом: смешно выслушивать все эти бредни!

— Подумаешь, какая нежная хатун! Да пусть эта Эльпи благодарит аллаха за то, что послал он ей господина Хайяма...

— Благодарит?! — негодуяще произнес взбешенный меджнун *. — А за что? За то, что купил ее любовь? А может, она, принимая его ласки, думает обо мне?.. Может...

Эфиоп перебил его:

— Послушай... Кстати, как тебя зовут?

— Какая разница?

— А все-таки?

— Допустим, Хусейн!

— Так вот, Хусейн. Есть в мире три величайшие загадки. Я это хорошо знаю. И разгадать их не так-то просто. Одна из них — загадка смерти, другая — тайна неба. А третья — эта самая проклятая женская любовь. Ее еще никто не разгадал. Но ты, я вижу, смело берешься за это. Смотри же не обломай себе зубы. Это твердый орешек.

Хусейн был непреклонен в своей решимости. Ему надо поговорить с соблазнителем. Он должен сделать это ради нее и самого себя.

Эфиоп кивком указал на кинжал, который торчал у Хусейна из широкого кушака — шалья.

— А этот кинжал, как видно, будет твоим главным аргументом в беседе? — спросил Ахмад.

* Меджнун — дословно: обезумевший от любви.

— Возможно, — буркнул Хусейн.

Ахмаду очень хотелось отшвырнуть этого непрошеного болтуна, который к тому же еще и грозитя, куда-нибудь подальше. У него руки чесались. Но силища этого Хусейна, которая ясно угадывалась, удерживала его. А еще удерживали его постоянные советы господина Омара эбнэ Ибрахима: разговаривай с человеком по-человечьи, убеди его в споре, если можешь, или поверь ему, если нет у тебя никакого другого выбора.

— Хусейн, — сказал Ахмад почти дружелюбно, — найди себе другую дорогу.

— Какую? — Хусейн вздрогнул, словно его змея ужа-лила.

— Которая попроще.

— Где же она?

— Только не здесь!

Хусейн оглядел эфиопа с головы до ног. «Может, попытаться ворваться во двор и там поговорить с соблазнителем?» — подумал он. Хусейн был уверен, что бедную Эльпи заграбастал этот придворный богатеи и теперь надругается над нею. Эта мысль убивала меджуна.

— Слушай, Ахмад, дай мне поговорить с ним...

Эфиоп покачал головой.

— Только на два слова!

— Нет!

— Я крикну ему кое-что. На расстоянии...

— Нет!

— А если я проникну силой?

— Зачем?

Хусейн кипел от негодования. Убить, растоптать, удушить ничего не стоило ему в эту минуту. Он был готов на все!..

— Пусть он вернет ее, — глухо произнес Хусейн.

— Эту Эльпи, что ли?

— Да, ее.

— Но ведь он купил ее. Ты сам этого не отрицаешь.

— Пусть вернет!!!

И Хусейн сжимает кинжал дамасской стали, который раздобыл еще там, в Багдаде.

У эфиопа иссякает терпение. К тому же солнце начинает припекать. Сколько можно торчать у калитки и вести бесплодные разговоры с этим меджнуном, по уши влюбленным в румийку-гречанку Эльпи? Но Ахмад, памятуя наказ хозяина, пытается быть вежливым:

— Ты не обидишься, Хусейн, если я повернусь к тебе спиной?

— Зачем?

— Чтобы войти во двор.

— Не обижусь, но всажу кое-что меж лопаток.

Хусейн не шутил. Он обнажил кинжал. Эфиоп понял, что не стоит подставлять свои лопатки этому одержимому. Он только поразился:

— Ты так сильно любишь ее, да?

— Больше жизни! — признался меджнун.

— И все-таки я не пушу тебя во двор!

Хусейн зарывал от злости. Неизвестно, что бы он сотворил, если бы не показался сам Омар эбнэ Ибрахим.

Он был в долгополой зеленой кабе* из плотного шелка. Белоснежный пирахан** узким вырезом охватывал крепкую шею. Светло-карие глаза, каштанового цвета борода и небольшие усы. И прямой с небольшой горбинкой нос. А над высоким лбом — традиционная повязка, словно бы окрашенная слегка поблекшим шафраном.

Да, разумеется, это был он. И Хусейн узнал его тотчас же. Ахмад попытался стать между ним и своим господином, но Омар Хайям отстранил слугу. Хусейн решил, что этот соблазнитель чуть ли не вдвое старше его и лет ему, должно быть, не менее сорока — сорока пяти.

* Каба — верхняя одежда.

** Пирахан — нижняя рубашка.

Омар Хайям глядел прямо в глаза своему сопернику. Будто пытался внушить ему некую мысль о благородствии.

— Это был ты! — зарычал Хусейн.

— Я тебя не видел ни разу в своей жизни, — сказал Омар Хайям. Голос его был низкий, спокойный и, казалось, немного усталый. Он говорил сущую правду: это какой-то силач-пахлаван, а с подобными нечасто приходится встречаться придворному хакиму *, по горло занятому своим делом.

— А рынок? — сквозь зубы процедил Хусейн. — Вспомни рынок.

— Какой рынок?

— На котором ты купил мою Эльпи.

— Твою Эльпи? — Омар Хайям удивленно посмотрел на своего слугу и спросил его: — Эльпи принадлежит этому молодому человеку?..

Ахмад развел руками, усмехнулся.

— Не отпирайся, — сказал Хусейн. — Ты знал, что она моя, что я следую за нею с самого Багдада, когда бесстыдно рассматривал ее. Или ты полагаешь, что я ничего не смыслю?

— Нет, — спокойно возразил Хайям, — я этого не полагаю.

Он был ростом ниже Хусейна и чуть ниже своего слуги. Довольно крепкий телосложением, неторопливый в словах и движениях.

— Господин, — вмешался Ахмад, — этот молодой человек утверждает, что сделался меджнуном, совсем ослеп от любви к этой девице.

— А меджнун готов на все! — вскричал Хусейн.

«Он сейчас набросится на господина», — подумал Ахмад.

— Я могу понять меджнуна, — сказал Хайям Хусейну. — Я вхожу в твое положение. Но если ты настоя-

* Хаки́м — ученый, мудрец.

щий меджнун, если для тебя любовь превыше всего, то ты должен понять и своего собрата.

— Это какого же еще собрата? — проворчал Хусейн.

— Меня.

— Кого? Тебя?

— Да, меня, Омара Хайяма.

— Это ради чего же?

— Может, и я меджнун? Может, и я люблю Эльпи? И не меньше тебя.

— Я не верю.

— Ну зачем же я стал бы покупать Эльпи? Скажи на милость — зачем? Чтобы иметь наложницу?

Хайям положил руку на плечо Хусейна. И сказал вразумительно:

— Будь мужчиной. Разве любовь добывается руганью или в драке? Ты можешь пырнуть меня кинжалом, да что в том толку? Я предлагаю нечто иное. Более приличествующее меджнуну и человеку вообще.

Хусейн молчал. Он походил на темную тучу.

— Я предлагаю простую вещь: ты поговоришь с Эльпи, и она решит, с кем ей быть: с тобой или со мною?

— Ты, конечно, уверен в себе...

— Я? — удивился Хайям. — Не больше, чем ты. Что одна ночь для женщины?..

— Очень многое, — хрипло проговорил Хусейн.

— А все-таки — что?

— Она за ночь может и полюбить безумно...

— ...или вовсе разлюбить, или возненавидеть, — возразил Хайям... — Так вот: я предлагаю переговорить с нею. Она же с душою! Спросим ее. Пусть выбор будет за нею...

Хусейн усмехнулся. Через силу. Ибо ему было совсем не до смеха. Какой тут смех, если прекрасная Эльпи за толстым дувалом *, а он, Хусейн, по эту сторону прокля-

* Дувал — глинобитная глухая стена.

той стены! Не проще ли всадить нож в соблазнителя? И тогда Эльпи может не утруждать себя выбором.

Хайям продолжает свои речи. Нет, он не трусит перед этим вооруженным меджнуном. Он хочет внушить ему, что людям более пристало убеждать друг друга словом, а не кулаками. Любовь всегда обоюдосторонняя: он любит ее, а она его. Женщина здесь даже не половина, а нечто большее: от нее идут главные флюиды любви. Так почему же не спросить ее? Почему бы не узнать ее мнение? Любит она или не любит? И кого она предпочитает? Разве в этом что-то особенное, что-то сверхъестественное?

«Он слишком уверен в себе, — думал Хусейн, все крепче сжимая кинжал. — Или подкупил он ее, или приворожил. Ведь не может быть, чтобы Эльпи, так горячая жаждавшая моей любви, вдруг переменялась?»

— Послушай, Хусейн, — продолжал Хайям, — я вполне верю в твои чувства, допускаю, что Эльпи предпочитает тебя, но я купил ее. Я отдал ее хозяину целую пригоршню динаров. Это золото не было у меня лишним. Оно не отягощало меня. Я купил Эльпи, полагая, что делаю для нее добро. Я и понятия не имел о тебе... Клянись аллахом!

Хусейн слушал, опустив голову, не переставая думать об Эльпи...

Хайям посмотрел наверх, чтобы по солнцу определить время. Утро уже не раннее — пора ему быть в обсерватории. Но он вынужден терпеливо разговаривать с этим меджнуном. Ибо любовь есть любовь и нельзя от нее отмахиваться, как от назойливой мухи, чьей бы она ни была любовью. Хотя меджнун явно зарвался и потерял всякое чувство меры и мужского достоинства. Хайям подумал о нежной и прекрасной Эльпи и на минуту вообразил, что она может предпочесть ему этого Хусейна, и что тогда? Разлука? Наверное. Впрочем, все в жизни скла-

дывается из встреч и расставаний, из радости и горя. Надо быть готовым ко всему! Кому достался этот мир? Даже великие Джамшид или Фаридун * не могли удержаться в нем долее положенного срока. Так на что же может рассчитывать простой смертный? Разлука с Эльпи, если суждено этому случиться, не самое страшное в этой жизни, хотя сердце и сожмется от огорчения. И, пожалуй, не раз.

— Я видел, как ты выбирал ее на рынке, — сказал Хусейн.

— Да, выбирал.

— И это не было любовью. Так выбирают и лошадь.

— Возможно. Но я полюбил ее именно на рынке. Я бы не хотел, чтобы она досталась какому-нибудь жирному негодяю. Мне нужна была прислуга. До зарезу...

Хусейн поправил его:

— Не прислуга, а наложница! А я ее собирался взять в жены.

— Это серьезно? — спросил Хайям.

— Клянусь аллахом!

Хайям оправил бородку неторопливым движением руки, вздохнул глубоко, с сожалением поглядел на этого самого Хусейна — неистового межджуна. А потом сказал:

— Эльпи не может принадлежать двум мужчинам. Я за нее заплатил золотом, а ты готов выкупить ее кровью своего сердца. И это похвально! При созданных условиях я могу предложить только одно...

Хусейн спросил нетерпеливо:

— Что именно?

Ахмад на всякий случай приблизился к Хусейну, чтобы вовремя схватить за руку, если тот вознамерится напасть на господина Хайяма.

Омар эбнэ Ибрахим сформулировал суть своего пред-

* Джамшид и Фаридун — мифические правители.

ложения в очень кратких и, надо полагать, справедливых словах. Вот они, его слова:

— Я тебя не знал до сего часа, и ты меня не знал. Между нами не было вражды, и я не мог нанести тебе оскорбление сознательно. Я купил невольницу из Кипра согласно закону. Не я, так другой приобрел бы ее за ту же цену. Теперь выясняется, что ты претендуешь на нее. На мой взгляд, это незаконно, но любовь не всегда считается с законом. Поэтому с заходом солнца я жду тебя в этом доме. Тебе будет предоставлена возможность поговорить с Эльпи. Даже наедине. Это уж по ее желанию. И пусть она скажет свое слово. И я клянусь, что все будет по слову ее... Это справедливо... — Хайям помолчал. А потом спросил: — Что ты скажешь на это, Хусейн?

Молодой человек продолжал стоять насупившись. Рука его сжимала кинжал, готовая пустить его в ход.

Омар эбнэ Ибрахим сказал:

— От моей смерти выгоды тебе не будет, Хусейн. Поверь мне. Я предлагаю нечто более мудрое, чем ты можешь представить себе в эту минуту. Пойди выпей холодной воды, почитай книгу Ибн Сины *, которую тебе вынесет Ахмад, и приходи ко мне вечером.

И Хайям пошел своей дорогой.

— Слышал? — обратился к меджнуну Ахмад.

Но меджнун, казалось, ничего не слышал: ведь на то он и меджнун, настоящий меджнун, который родится только на Востоке.

* Абу Али Ибн Сина (латинизированное имя Авиценна) — врач, философ, астроном, математик, географ, поэт Востока XI века. Жил в Средней Азии близ Бухары, в Иране. Философские и естественнонаучные трактаты Ибн Сины пользовались большой популярностью на Востоке и Западе в течение ряда столетий. Мусульманские богословы обвиняли Ибн Сину в атеизме и ереси. Сохранились немногочисленные стихи Ибн Сины на арабском языке и на фарси. Он оказал влияние на классическую иранскую, узбекскую и арабскую литературы.



2

ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
ОБ ИСФАХАНСКОЙ
ОБСЕРВАТОРИИ

Обсерватория в Исфахане, в которой работал Омар эбнэ Ибрахим Хайям, была построена по приказу его величества Малик-шаха. Однако истинным строителем ее следовало бы назвать главного визиря Низама ал-Мулка.

Кто первым заметил Омара Хайяма, когда ему было всего двадцать семь лет? Низам ал-Мулк. Где был в то время Омар Хайям? В Бухаре и Самарканде. Разве так просто было заметить молодого ученого из самого Исфахана? Разве для этого достаточно простого зрения или обычного ума? Нет, разумеется. Его превосходительство видел слишком далеко, его ум работал по-особому, и уши его слышали многое из того, что не слышали другие в атом обширном царстве. Кто доложил об Омаре Хайяме его величеству? Главный визирь. Кто посоветовал пригласить ко двору молодого ученого? Главный визирь. Кто подал мысль о строительстве самой лучшей в подлунном мире обсерватории? Главный визирь. Кто сказал: «Нам

Важнейшее медицинское сочинение Ибн Сины «Канон медицины» получило мировую известность и многократно переводилось на многие европейские языки.

В социальном учении Ибн Сины примечательна мысль о дозволительности вооруженного восстания против несправедливого правления.

нужен новый календарь, который следует назвать именем его величества»? Главный визирь.

Велик Малик-шах, но, как всякому царю, ему нужна правая рука, нужен советник со светлой головой. Разве не таков главный визирь? Именно таков, и словам визиря всегда открыты уши его величества. А ведь это тоже великое искусство — слушать умные советы и поддерживать их. Разве не в этом истинная мудрость правителя?

Его величество и главный визирь — как бы одно целое. Один советует, другой приказывает. Один выполняет необходимое государству через другого. И всегда — словно одно целое. Но это не означает, что его величество схож характером с главным своим визирем. Главный визирь несколько суховат, его правая рука на коране, его левая рука на сердце, а глаза его зорко следят за выражением лица его величества, а душа ощущает движение души его величества.

Его величество благоволил к главному визирю, он уверен в его способностях, в его уме и энергии. Только при всем этом могла быть возведена эта удивительная обсерватория. Кто имеет подобную? Индостан? Китай? Александрия? Афины или Рим? Такой обсерватории нет даже в Самарканде, который воистину город великих ученых.

Обсерватория стоит на прочном базальтовом фундаменте круглой формы в плане. Над фундаментом высится стена высотой в несколько этажей. Крыша здесь плоская, огромные балки из ливанских кедров прочно соединяют в единый монолит эту кирпичную башню, диаметр которой равен пятнадцати шагам.

На круглой плоской кровле находятся различные астрономические приборы: квадранты, астролябии, огромная армиллярная сфера и многое другое. Одни из них сделаны искусными самаркандскими, хорасанскими и исфаханскими мастерами, другие — ближайшими помощника-

ми и сотрудниками Омара Хайяма. Армилярную сферу, например, почти такую же, какой пользовались в свое время Архимед и Птоломей, воспроизвели из меди и латуни Абулрахман Хазини и Абу-Хатам Музаффари Исфизари. Омар Хайям доволен приборами, особенно астролябиями. Подвешенные на перекладинах прочными железными цепями, они, с одной стороны, служили идеальными отвесами, а с другой — давали возможность отсчитывать углы возвышения светил, определять наклонения эклиптики и так далее. Окуляры на алидадах были наиболее удачными из всех, какие только приходилось видеть Омару Хайяму.

Круглая площадка башни была расчерчена линиями, точно делившими ее на триста шестьдесят градусов. Каждый градус был поделен на шестьдесят минут, и линии эти были хорошо различимы сквозь алидадные окуляры.

Главная горизонтальная ось обсерватории, вернее, ее круглой верхней площадки, была точно ориентирована по исфаханскому меридиану, который в расчетах принимался за нулевой градус. Плоскость горизонта воображаемая, разумеется, и отсчеты от нее обеспечивались точностью алидадных осей, мягко и плавно поддававшихся едва заметным движениям руки наблюдателя.

В нижних этажах размещались рабочие комнаты, комнаты для собеседований, комнаты для отдыха и даже для сна. На первом этаже — самом прохладном — можно было подкрепиться пищей, которая доставлялась из кухни, построенной по соседству. Не забыть бы сказать, что на самом верху имелись также и удобные, очень легкие переносные лежанки. Они предназначались для астрономов, ведших ночные наблюдения за звездным небом.

Обсерватория была огорожена высокой кирпичной оградой, а у входа стоял домик для привратника. Одним словом, Омар Хайям и его сотрудники имели все основа-

ния быть довольными обсерваторией, лучшей из созданных человеком в то время и до того.

Главные ученые обсерватории — их было пятеро — дежурили поочередно каждые сутки. Вот имена их: Омар Хайям, Абулрахман Хазини, Абу-л-Аббас Лоукари, Абу-Хатам Музаффари Исфизари и Меймуни Васети. Были они примерно одного возраста, вместе начинали свою работу в этой обсерватории и с помощью аллаха собирались дожить здесь до конца дней своих в постоянных трудах и наблюдениях. Были у них также и помощники из числа способных молодых исфаханцев числом около десяти человек.

По распоряжению главного визиря бумага для обсерватории отпускалась самая лучшая — сорта «самарканди». И чернила были отменными. Всякий мелкий инструмент, необходимый для ученых, доставлялся незамедлительно по первому же требованию.

С высоты обсерватории открывался вид на город и на окрестные горы — голые, выжженные солнцем, похожие на огромные зубы сказочных зверей. Исфаханский оазис благодаря животворной реке Заендерунд стоял зеленый, жизнедеятельный посреди безжизненной серо-желтой пустыни.

Сюда, в обсерваторию, каждое утро шагал Омар Хайям. Идя по кирпичному мосту через Заендерунд, останавливался на минуту, чтобы полюбоваться зелеными струями реки и на минуту перенестись в область быстротечной человеческой жизни, которой нет ни начала, ни конца.



3

ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ЛИНИЯХ, ИМЕНУЕМЫХ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ

Омар Хайям вошел в обсерваторию улыбающийся, довольный прекрасной утренней погодой и видом своих друзей. Впрочем, Меймуни Васети — широкоплечий, полнеющий, с изрядной лысиной и кареглазый — выглядел бледным и усталым. И это понятно: он провел ночь там, наверху, тщательно обследуя небо и занося каждое новое явление в особую книгу, которая называлась «Суточные изменения небесной сферы».

— Поздравьте меня, — весело проговорил Омар Хайям и сбросил кабу.

Исфизари — высокий и худой, горбоносый шатен — знал об удачной покупке господина Хайяма. Он слегка склонил голову и пожелал успеха заядлому холостяку.

Омар Хайям немного обиделся.

— Почему «заядлому»?

— Тот, кто не женился в сорок четыре, не женится и в шестьдесят.

— Это почему же? Ты знаешь, Абу-Хатам, что я люблю определения точные, доводы ясные. Почему это я, по-твоему, заядлый холостяк?

Исфизари обратился к своим друзьям. Он сказал:

— Если я не прав, пусть рассудят они.

— Пусть! — согласился Омар Хайям.

Меймуни Васети всю ночь наблюдал движения светил. Его взгляд переходил от одного созвездия к другому. А в созвездии Близнецов он обратил внимание на некое свечение, которого не было прежде и которое никем не описывалось. В это утро ум его был поглощен более серьезными делами, нежели проблема холостяцкой жизни господина Хайяма. Он сказал, что никто не может сказать, когда мужчина влезет в хомут семейной жизни. А посему сегодня «заядлый» холостяк, а завтра «заядлый» семьянин. Не так ли?

— Господа, — сказал Исфизари, — наш уважаемый Хайям привел в дом прекрасную румийку с Кипра. Точнее, с невольничьего рынка. Но предупреждаю: она всего-навсего служанка в его доме. — И ухмыльнулся.

— Слышите? — сказал Омар Хайям. — Это сущая правда: именно служанка! И просьба не путать с госпожой дома, как называли жену в стародавние времена. И тем не менее я действительно в хорошем настроении, что, как вам известно, бывает со мною нечасто. Вы спросите меня: почему же у меня такое хорошее настроение? Не правда ли?

— Правда, — подтвердил Лоукари. — Нам безынтересно знать по возможности больше о своем товарище и наставнике.

Лоукари был малоразговорчивым, сухощавым человеком, настоящим ученым и с виду, и по сути. Провести ночь под звездным небом, наблюдая за светилами, — что может быть лучше? Пожалуй, ничего, если не считать библиотеки, где время проходит еще быстрее за чтением книг. Книги и небесная сфера — вот две любимые стихии Абу-л-Аббаса Лоукари, которому совсем недавно исполнилось сорок три года.

— Ну что ж, — сказал Хайям, — не скрою причину своей радости. — Он прошелся неторопливым взглядом по лицам своих друзей. — Я знаю, что вы только что

подумали обо мне и какое при этом слово произнесли про себя. Я знаю это слово, если даже начнете отпираться. — Хайям прищурил глаза, подбоченился, слегка согнувшись в пояснице. — Вы сказали про себя: «женщина». Вы сказали: женщина — причина его радости. — И замолчал, словно ожидая, что его начнут упрашивать продолжать рассказ.

Но все почтительно молчали. Эти воспитанные люди не торопили собеседника, не выказывали своего нетерпения. Они умели ждать...

Хайям махнул рукой. И сказал:

— Женщина — сама собою. Она всегда приносит радость, особенно если ты купил ее по дорогой цене, особенно если вызвал в ком-нибудь зависть и ревность. Но я сейчас не о женщинах. Я всю ночь думал о линиях — самых различных и больше всего о параллельных. Да, да!

— Может быть, мы сядем? — сказал Васети.

В самом деле, почему бы не сесть и не поговорить по душам? А то получается как-то на ходу...

— В таком случае я не скоро отпущу вас от себя, — серьезно сказал Хайям. — Да, да! Потому что эти самые параллельные линии, которые вот уже полтора десятка лет не выходят у меня из головы, — славные линии. Но в довершение ко всему это линии таинственные. Однако я это скорее добавляю для себя, чем для вас. Ибо вы не хуже меня осведомлены об этом. Вот эти самые линии — причина особой радости. Клянусь аллахом!

Ученые сели на ковер. А Меймуни Васети облокотился о небольшую горку жестких подушечек: ночная усталость сказывалась.

— Начнем с самого простого, — сказал Хайям, — с пятого постулата его величества Евклида...

Он замолчал. И все молчали. Ожидая, что Хайям продолжит свою фразу, завершит свою мысль... А он спросил:

— Кто помнит пятый постулат?

Попробовал было припомнить Васети, но где-то на середине осекся. Лоукари тоже запутался в начальной фразе. Хазини сказал Хайяму:

— Зачем ты нас испытываешь? Тебе ничего не стоит прочитать наизусть.

Действительно, память у Омара Хайяма была потрясающая: стоило ему раз пробежать глазами какой-нибудь текст, как он мог с удивительной точностью воспроизвести его спустя месяц или год. Хайям порою даже хвастал немножко этой своей памятью...

— Так слушайте же, — сказал он и процитировал дословно Евклида на арабском языке (из книги, написанной в Каире): — «И если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы меньше двух прямых, то продолженные эти две прямые неограниченно встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых».

Цитата была прочитана без запинки.

— Так, — проговорил Хазини. — А дальше?

— Дальше? Дальше значительно сложнее. Полтора десятка лет тому назад... Нет, еще раньше, там, в Самарканде, я начал решать эту задачу...

— Какую? — спросил Васети.

— Я же сказал: пятый постулат Евклида...

— А зачем ее решать?.. Постулат есть постулат. Это все равно, что доказывать: трава зеленая, а песок серый.

— Не совсем так, — возразил Хайям. — Ты полагаешь, Меймуни, что все те, кто рассматривал этот постулат как теорему, требующую доказательств, были дураки?

Васети сказал:

— Тогда остается предположить, что сам Евклид поместил свой постулат не туда, куда следует...

— Пожалуй, так.

Ученые переглянулись: что это Омар вдруг решил уличать Евклида в неточности? Евклида надо принимать, как он есть. Евклид — бог в геометрии. Вот и все!

— Друзья, — сказал Хайям, — я, пожалуй, услышался: разве боги занимаются наукой? Наукой занимается человек. А человеку свойственно ошибаться, каким бы он ни был великим. Я не могу понять: почему бы не подвергнуть доказательному рассмотрению этот самый, я бы сказал, пресловутый пятый постулат?

— Очень просто! — Васети потер лоб. — Тогда придется построить новую геометрию.

— Необязательно, Меймуни... Доказать — значит утвердить Евклида в самой его основе... Я понимаю, когда Евклид пишет, что «все прямые углы равны между собою» или «ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой», — это не требует никаких доказательств. Это все слишком самоочевидно. А вот что касается двух параллельных линий, тут дело посложнее.

Меймуни покачал головою: дескать, не все понимаю. Остальные молчали, размышляя над словами Хайяма.

— Хаким, — почтительно обратился к Хайяму Исфизари, — вот уже более тысячи лет ученые пытаются, вернее, ломают свои головы над тем, чтобы опровергнуть или утвердить этот постулат Евклида. Но тщетно!.. Может быть, не стоит более заниматься этим и беспрекословно положить на славного грека?

— Чтобы мысль застыла? — бросил Хайям.

— Нет, почему же? Для мысли простор безграничен. И для приложения ее к чему-либо можно найти массу разных способов.

Хайям налил в чашу воды из кувшина. Отпил глоток. Поставил чашу на столик.

Хазини сказал, что вполне согласен с Хакимом. Если в голове засел этот самый постулат, если он будоражит, надо браться за него. Даже безрезультатность в таких

случаях тоже можно посчитать за результат. Пусть тысячи лет ломали ученые головы. На тысяча первом году кто-нибудь да постигнет истину. И она может оказаться очень простою. Если постигнет... А ежели нет?..

Хазини переглянулся с Васети. Потом с Лоукари. Как бы ища ответа в их словах, которые готов услышать. Но ища поддержки, разумеется.

Хайям постукивал пальцами о столик и размышлял, не упуская ни единого слова друзей. Он ценил их ум, а еще больше — их откровенность. Они могли бы противоречить даже самому султану, если бы это могло послужить добром научной истине. Друзья не раз вступали в спор с уважаемым Хайямом, глубокоуважаемым Хакимом.

Хайям упорно молчал.

— Если постигнет снова неудача, будут думать другие, — сказал Васети, пригубив свежей воды. — Мысль человеческая никогда не устанет, она будет работать вечно.

— Вечно? — задумчиво произнес Хайям.

— Да, дорогой хаким, вечно!

— Это хорошо...

Васети тихо засмеялся. Вечно — это хорошо? Но что такое вечность? Год, два, тысяча лет или тысячи тысяч?..

— Да нет же, — сказал Хайям, — вы не хуже меня знаете, что такое вечность... Вы же помните ту индийскую притчу?.. Ну, насчет алмазного столба.

— Разумеется, — сказал Лоукари.

Васети тоже кивнул. Утвердительно.

— Позвольте, — сказал Исфизари, — я что-то запмятовал... Какой алмаз? Какой столб?

— Ты это серьезно? — спросил Хайям.

— Вполне! Ну могу же я забыть кое-что? Или не могу?

Хайяму нравилась эта притча, и он с удовольствием повторил ее уже в который раз.

— Да ты, наверное, вспомнишь ее, — продолжал Хайям. — Это про алмазный столб... Одного мудреца спросили: что есть вечность? И он ответил: «Я не знаю, что такое вечность, но представляю себе один миг вечности». Его попросили объяснить, что есть миг вечности. И он сказал так: «Вы видите Луну? Вообразите себе столб из алмаза высотой от нас до Луны. А потом вообразите себе, что каждый день садится на вершину столба некая птица и чистит свой клюв об алмаз. Она при этом слегка стирает столб, не правда ли?.. Так вот, — продолжал мудрец, — когда птица опустится до земли, источив весь столб, это и будет миг вечности».

— М-да-а. Я теперь вспомнил эту притчу, — проговорил Исфизари. — Я слышал ее еще в детстве.

— Детская память самая острая, — сказал Хайям. — Но я, надеюсь, не наскучил тебе повторением уже знакомого?

Исфизари был слишком серьезен, чтобы заподозрить какую-либо иронию в словах хакима. И он вздохнул:

— О вечность, вечность...

И в тон ему сказал хаким:

— О бесконечность, бесконечность! — Проговорил он это полушутливо. И уже совсем серьезно, почти озадаченно продолжил: — Видите ли, греки, на мой взгляд, не могли принять как абсолютную данность понятие бесконечности. То есть расстояние, которое нельзя измерить при помощи шагов или движения каравана. Евклид был грек и сын Греции. Причем достойнейший. Разве мог он принять, притом беспрекословно, понятие бесконечности?.. В смысле геометрическом. Что бы он с ним делал? Просто ничего! Поэтому-то, — Хайям положил руки на стол, — он и перенес теорему о параллельных линиях в число постулатов. Если угодно, чтобы не возиться с этим чрезмерно расплывчатым и малодоказуемым понятием — бесконечность!

Меймуни Васети слушал очень внимательно. Он сказал, что все это очень любопытно, но...

Хайям взглянул на него вопросительно. Дескать, что же дальше?

— ...но, — продолжал Меймуни, медленно рассекая воздух указательным пальцем правой руки, — но спрашивается: разве понятие бесконечности стало более ясным в наше время?

Хайям не торопился с ответом. Он хотел выслушать своих друзей. Да вообще, можно ли торопиться в таком сложном деле? Легко сказать «бесконечность», а как изобразить геометрически, наглядно, бесспорно? То есть сделать то, чего не могли достичь даже греки...

Лоукари сказал:

— Если возможна такая постановка вопроса, то напрашивается и другая...

— Какая? — Исфизари хотелось поскорее услышать, что скажет Лоукари. А тот, как нарочно, медлил. Наконец сформулировал свою мысль:

— Если мы откажемся рассматривать то, что именуется бесконечностью, перестанем постигать ее в той или иной форме, то боюсь, что мы тем самым выкажем недоверие к человеческой способности с годами мыслить глубже, шире и совершенней.

— О, что я слышу?! — воскликнул Хайям. — Это не слова, но мед для моей души...

Лоукари воодушевился. Он морщил лоб пуше обычного и, как бы пытаясь лучше постичь тот предмет, о котором размышлял, продолжил свое рассуждение следующим образом:

— Параллельные линии и их главное свойство — основа всей евклидовой геометрии. А геометрия эта естественная, она вполне укладывается в наше представление о мире, нас окружающем. Разве мы не знаем, что такое плоскость, точка, линия? Наш глаз, наши чувства, весь наш

разум согласуют наше представление о мире с теорией этого великого грека. Если наука и мыслимое состояние жизни не расходятся в главном, то должны совпадать и частности. И наоборот: совпадение частного или частных явлений предопределяет, точнее, гармонизирует с общим. Не знаю, насколько точно, насколько понятно я выражаюсь, однако...

Хайям перебил его:

— А по-моему, ты выражаешься достаточно ясно, и не к чему скромничать сверх меры.

Исфизари держался несколько иного мнения:

— Меня не совсем устраивают отдельные выражения, которые были допущены уважаемым Лоукари.

— Что же, я слушаю, — проговорил Лоукари.

— Наш уважаемый друг сказал: «Если наука и мыслимое состояние жизни...»

Лоукари перебил:

— «Жизни» — в смысле «мира»...

— Пусть будет так... Если они не расходятся в главном... Что это значит? Во-первых, как понимать это самое «мыслимое состояние мира»? Как истинное или кажущееся нам?

— Как истинное, — поправился Лоукари.

— Очень хорошо! Дальше... Во-вторых, не совсем точно сказано относительно «главного» и «частного». Это требует разъяснений, потому что бывают явления в природе, в общем схожие, но по сути своей различные. То есть я хочу сказать, что так говорить об «общем» и «частном» не совсем верно.

Лоукари скрестил на груди руки, задумался. Выслушал своего коллегу до конца и, сделав приличествующую паузу, сказал, обращаясь к Омару Хайяму:

— Хаким, говорят, что истина не познается в скоропалительной беседе и не до конца продуманном разговоре.

Не кажется ли тебе, что нам стоило бы поговорить обо всем этом подробнее в другое время?

Хайям сказал:

— Не думаю, чтобы любой ученый спор был бы вреден. Однако есть свои достоинства в продуманном, заранее подготовленном разговоре. Но учтите: бывает мысль, подобная светлячку, — она блеснет неожиданно. И подобная мысль часто бывает весьма важной.

Так беседовали ученые в это утро.



ЭТА ГЛАВА ЯВЛЯЕТСЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕМ ПРЕДЫДУЩЕЙ

Ученые говорили долго. Это и понятно: когда ум и сердце заняты одним делом, время течет незаметно. Солнце поднимается все выше, а глаза этого не ощущают. Жара становится все более жестокой, а тело остается равнодушным к повышению температуры. Ибо и ум и сердце заняты важным делом. Если оно не по душе или не по сердцу, то и солнце припекает сильнее, и часы отсчитывают время очень медленно. Это было известно и в стародавние времена, может быть, раньше, чем жили Джемшид и Фаридун — всемогущие цари.

Не менее жестоким, чем жара, бывает голод. Но если человек увлечен, он не замечает даже голода. Более того: говорят, что великий Ибн Сина мог работать сутками, не помышляя о еде и даже воде. Так свидетельствуют люди умные в стародавних книгах, которые есть и в самаркандских, и багдадских, и исфаганских книгохранилищах.

Но зачем ходить за примерами так далеко? Вот сидят нестарые еще люди, умудренные науками, и, позабыв обо всем на свете, беседуют меж собой. Даже тот, кто не сомкнул глаз всю ночь, наблюдая небо, сидит, не ведая усталости, ибо такие люди, как эти, во главе с Хакимом Омаром Хаййомом, не теряют даром времени и минуты их на вес золота.

Надо сказать, что здесь, на первом этаже обсерватории, за толстыми стенами, не так жарко, как во дворе или на плоской круглой крыше. И тем не менее в Исфахане в это время года — в начале лета — бывает порою так жарко, как только можно вообразить себе. Ибо Исфахан — благодатный оазис среди пустыни, раскаленной докрасна, и эта пустыня, разумеется, влияет на состояние воздуха, на температуру его. Даже за толстыми кирпичными стенами, даже на сквозняке не так уж прохладно, как иногда может показаться. Поэтому необходимо воздать должное выдержке и невероятному трудолюбию этих ученых.

У каждого из них в руках галам * и стопка прекрасной бумаги. И каждый из них записывает свои мысли на бумаге, белой, как хлопок, как снег на Эльбурсском хребте. Потом эти листы попадут в руки к тому, кому поручит дело хаким, и ученые записки будут использованы для общего труда, для отдельной книги...

Хаким с воодушевлением говорил о колее, которую оставляет царская колесница или простая телега, если ее тянуть беспрестанно по гладкой песчаной почве и тянуть по прямой линии. Не есть ли эти линии суть параллельные, ибо колесница или телега может пройти по всей Земле, которая есть шар, наподобие Луны или Солнца? Евклид называет эти линии параллельными. Если на них падет прямая линия и пересечет их, то сумма двух внутренних углов будет равна двум прямым углам. А если нет, то линии непременно пересекутся по одну или другую сторону от прямой, которая падает на две линии...

— Это так, — сказал Исфизари.

С ним согласились все. А хаким спросил:

— Это самоочевидно?

— Да, — ответил Исфизари.

* Галам — тростниковая палочка-перо.

— Прошу вас подумать получше, — попросил хахим.

Он был очень озабочен. Уже позабылся спор с неистовым меджнуном, далеко была Эльпи, и ничто не имело в настоящую минуту столь огромного значения для его земного существования, чем эти странные параллельные линии. Они захватили Хайяма, он был поглощен ими, и друзья его были поблизости постольку, поскольку и их занимали эти странные параллельные линии. Странность этих линий прежде всего заключалась в том, что они оказались, по мнению Хакима, не там, где им надлежало быть: среди постулатов, а не в числе теорем. Почему Евклид обозначил явную теорему как постулат? Где-то в глубине сознания — а может быть, как говорил великий Ибн Сина, за сознанием — Омар Хайям чувствовал, что параллельность эту надо еще доказать. И у него было почти готово некое геометрическое доказательство. Оно пришло в голову еще там, в Самарканде. Хахим не раз обращался к нему и в Бухаре, и уже, что называется, вплотную подошел здесь, в Исфахане. Но слово «подошел» — слово неточное. Много лет посвятил хахим решению теоремы, но и сегодня он был так же далек от ее доказательства, как и много лет тому назад. Что-то подсказывало хакому, что вопрос о параллельных линиях необычный и можно думать, что сам Евклид не одну ночь ломал голову над своим постулатом... Над постулатом ли? О самоочевидном нечего тревожиться. Оно существует и будет существовать и без доказательств. А вот то, что требует доказательств...

Известно, что любое здание зиждется на фундаменте. В фундамент кладется крепкий камень. Он должен быть надежен. А ежели здание дрогнет, тогда виноват камень. Камень, положенный в фундамент.

Таким камнем Евклидовой книги, его учения, являются пять постулатов. Без них нет Евклидова учения. На них стоит оно, подобно незыблемому зданию. И это уже было

на протяжении десяти прошедших веков. Эта его геометрия ничем — решительно ничем! — себя не опорочила, ни единая душа не сказала, что из-за нее ошиблись в постройке дворца, канала или в измерении углов треугольника и в прочих важных вещах. Стало быть, учение верно, геометрия Евклида не вызывает сомнений? Получается так.

— Вот ты говорил, — обратился Омар Хайям к Лоукари, — что если общее верно, то справедливо и частное. Евклидова геометрия как таковая едва ли вызывает сомнения. Она давно проверена в повседневных трудах и работах зодчих, ученых и в делах путешественников, требующих знаний. Следует ли из этого... — каким посмотрел в глаза своему другу, — следует ли из этого, что постулат о параллельных линиях не подлежит какому-либо доказательству, какой-либо проверке? Утверждает ли он себя, исходя из справедливости этой геометрии в целом?

Лоукари провел рукою по лбу. Кашлянул. Выпил воды. Все это так неторопливо, так основательно, что, казалось, он в эту минуту определяет судьбы вселенной на века. Он заметил, что в науке нельзя что-либо утверждать навечно. Завтра явится некто и опровергнет тебя. Разве такого не бывало? Скажем, один ученый по имени Думани (он жил в Мемфисе и почти забыт даже учеными) утверждал, что число небесных светил ограничено одной тысячей, а что все прочие светлые точки — изображение нашего ума или отражение светил от небесного свода, который подобен зеркалу со множеством граней. Но вот явился Архимед, позже Птоломей, и они доказали, что светил гораздо больше. А Птоломей составил точный атлас всех видимых светил. Спустя века выясняется, что светил еще больше, чем это казалось Птоломею. Так же обстоит дело с любой научной истиной: она требует постоянной проверки и обдумывания. Но вопрос о пятом постулате Евклида не сдвинулся с мертвой точки...

— Следует ли из всего этого, — сказал хахим, — что все, кто ломал себе голову, пытаясь найти ключ к его доказательству, были, по меньшей мере, людьми наивными?

— Нет, почему же? — сказал Исфизари. — Просто это были любознательные. Вот я знаю одного старика — живет за рынком — он пытается изготовить колесо, которое будет вертеть само себя. Притом вечно. Я полагаю, что лучше доказывать недоказуемое, нежели брать нож в руки и грабить честных людей на большой дороге...

Ученые рассмеялись. Омар Хайям — непривычно громко, Исфизари — высоким, но тихим смехом, а Васети — басовито, точно откашливаясь, Хазини — неслышно, как и Лоукари.

— Недурно сказано, — проговорил Хайям.

Васети добавил:

— Это хорошая оценка нашей работы... Представьте себе: пятеро здоровых мужчин на дороге из Исфахана в Шираз. Я знаю хорошее место для разбойничьих дел...

— Это на полпути? За крутым поворотом? — спросил Лоукари.

— Вот именно!

Место, о котором говорил Васети, было пустынно, однако имело выход к некоей речке, по которой нетрудно было добраться до самого Персидского залива. Речка — она порою терялась в песках — протекала в глубокой расщелине, удобной для скрытных дневных переходов...

— Если нашу землю принять за огромный шар, — сказал Васети, — а это так и есть на самом деле, то наша колея движущейся телеги в виде двойного кольца опояшет весь мир. Спрашивается, где же бесконечность? — И он уставился на Хайяма.

Тот чистосердечно сказал:

— Напрасно так глядишь на меня. Если бы я знал все это, давно объявил бы себя пророком. Вся загвозд-

ка в том, что я и сам ничего не знаю. И не смотрите на меня как на мудреца, у которого борода трясется от больших знаний. Я всего-навсего ваш товарищ, которому много больше лет, чем вам.

— О нет! — воскликнул Исфизари. — Я согласен в одном: не надо кичиться своими знаниями. Но и не надо чрезмерно скромничать.

— При чем здесь скромность, господин Исфизари? — удивился хаким. — Надо смотреть правде в глаза и ответственно с нею вести речи. Я люблю определенность. Вы это знаете. Истина такова: я ничего не знаю! Я повторяю эти слова греческого философа, повторяю не стесняясь. Мы должны смело ввести в обиход понятие «бесконечность». Что это? Расстояние до Солнца? До созвездия Близнецов? Или в сто раз большее расстояние? Ни то, ни другое, ни третье! Расстояния, о которых мы говорим, поддаются измерению фарсангами *, а бесконечность — нет. Если мы этого не поймем, то это значит, что мы ни на шаг не подвинулись вперед после греков. А ведь прошло десять с лишним веков!

Слуга принес холодного шербета. Целый кувшин. Разлил по чашам. Поднес каждому из ученых и молча удалился.

Хайям пригубил, а Васети опустошил тотчас же свою чашу. Остальные не дотрагивались...

— Я открою вам одну тайну, если меня не выдадите, — сказал Хайям. — Эта моя новая служанка дала понять, что хорошо разбирается в любви. Но я не торопился. К ее удивлению. Поймите меня, если можете: чудесная женщина двадцати лет ждала меня в соседней комнате. А я проводил время за бумагами. Под утро она вошла ко мне, но я, оказывается, не заметил ее...

— Что-то непохоже на тебя, — сказал Хазини, до это-

* Фарсанг — мера длины, равная пяти-шести километрам.

го молчавший. — Ты сидел за бумагами, а рядом изнывала от любви молодая красотка?

— Да, да! — слишком твердо выговорил Хайям.

Хазини развел руками: дескать, верить ли? Разве не сам хаким распускает слухи о своей вечной приверженности к вину и женщинам?

Васети спросил:

— А все-таки что отвлекло тебя от любви, о Хаким?

— Что? — Омар Хайям весело осмотрел своих друзей, потер руками колени. — Слово «отвлекло» в данном случае не совсем подходящее слово. «Увлекло» будет вернее.

— Пусть будет по-твоему. Что же увлекло?

— Целый день я провел над геометрической задачей. Долго бился. Разумеется, все над теми же параллельными линиями. Я взял четырехугольник, верхние углы которого предположительно прямые. Но это требовалось доказать. Это, так сказать, первое предположение, то есть углы прямые. Второе предположение: углы острые. Третье предположение: углы тупые. Я строил треугольники, опуская на основания их прямые, делил пополам четырехугольники... Словом, делал все необходимое для убедительного доказательства. Потом я предположил, что все углы тупые и все углы острые. Я мысленно вычертил и эти странные четырехугольники и невольно залюбовался ими...

— Более чем странные четырехугольники, — сказал Васети коллегам.

— К чему их приспособить? — прищурился, спросил Омар Хайям.

Ученые молчали, не желая скороспелыми предположениями давать неправильное толкование.

— Эти фигуры меня забавляли весь день и всю ночь...

— Не мудрено, — заметил Исфизари.

— Да, очень любопытные фигуры... — сказал Лоукари.

— Что скажешь еще, господин Лоукари?

— Да ничего...

— Послушайте, друзья мои, — продолжал Омар Хайям, — представьте себе, что вы на вершине правильно наметенного ветром бархана. Этот бархан, на вершине которого стоите вы, расходится во все стороны соответственно правилам, присущим сыпучим телам. Не кажется ли вам, что именно на таком бархане может быть изображен такой четырехугольник?

— На бархане? — спросил Лоукари.

— Я это к примеру. Вместо песка можно взять зерно. Очень много зерна, представляете себе? А вы на самом верху. А под вами четырехугольник. Воображаемый или изображенный меловой краской или каким-либо иным способом. Представляете?

Первым отозвался Хазини.

— Нет, — сказал он.

Остальные согласились с ним. Вполне единодушно.

Омар Хайям огорчился. Он порвал чертеж и сказал:

— Пожалуй, вы правы. Забудем об этом дурацком бархане.



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ВСТРЕЧЕ ХУСЕЙНА С ЭЛЬПИ
И О ТОМ, ЧТО ДАЛА
ЭТА ВСТРЕЧА МЕДЖНУНУ

Она сидела по одну сторону от хакима, а Хусейн по другую. Так пожелала Эльпи. Она не уступила настоящим требованиям Хусейна остаться с ним наедине.

— Зачем? — спросила она.

— Мы будем откровеннее, — объяснил Хусейн.

— У меня нет от него секретов, — сказала Эльпи и посмотрела в сторону Омара Хайяма.

А господин Омар Хайям молчал. Он заявил с самого начала, что сделает все так, как пожелает Эльпи.

— Твоя рабыня? — гневно спросил Хусейн.

— Это женщина, — ответил Омар Хайям.

— Ты же за нее заплатил деньги!

— Да. И немало.

— Значит, ты так уважаешь женщину, что готов заплатить за нее все свои деньги?

Хусейн скрежетал зубами, точно зверь пустыни. Ему хотелось уличить этого благочестивого ученого во лжи, в своекорыстии и, если угодно, в обычном мужском скотстве. А что, разве это не так?! Пожилой мужчина должен понимать, кто ему пара, и не должен зариться на двадцатилетнюю, у которой к тому же молодой возлюбленный. Если бы у него была совесть, он не стал бы отбивать Эльпи при помощи денег. Динары — это еще не любовь. Купленная благосклонность женщины ничего об-

щего не имеет с подлинной любовью. А что, разве не так? Именно так!

Господин Хайям слушает Хусейна с таким равнодушием, что кажется, все это не касается его. Каким присутствует здесь ради безопасности Эльпи — буйный меджнун способен натворить все, что угодно. Это во-первых. А во-вторых, так пожелала сама Эльпи: она настойчиво требовала этого. Ей не хотелось оставаться с глазу на глаз с Хусейном. Это ни к чему. Что было, то было, к прошлому нет возврата. Судьба повернулась к ней не спиною, а привлекательным лицом. Новый господин не заслуживает того, чтобы его огорчали. Ее мог купить любой мужлан в образе богатого купца. Великий бог соизволил послать ей этого господина, и Эльпи нечего сетовать на свое положение. Впрочем, уже привычное...

Господин Хайям не желает разговаривать с этим Хусейном. Ему претит объяснение с соперником. Любовь — дело двух сердец. Любовь — сугубо личное дело. И при чем тут третий? Нет ничего смешнее или трагичнее, чем объяснение двух мужчин относительно предмета их любви. Это унижает достоинство, сближает человека со зверем. Нет, в любовь двух сердец нечего вмешиваться.

— Ты грубо разорвал нашу любовь, — твердит Хусейн, зло поглядывая на Омара Хайяма.

А хаким молчит. Словно в рот воды набрал.

— Мы любим друг друга...

Молчит хаким, молчит и Эльпи. Она опустила глаза. Ей неприятен этот разговор. Может, она в чем-нибудь и повинна, но в чем? Ее купили по закону, она принадлежит по закону хозяину дома. Теперь уже ничем не поправишь этого. И надо ли что-нибудь исправлять? Кто она, в конце концов? Красивая игрушка в руках всевышнего, или судьбы, или богатых людей?

Эльпи спрашивает Хусейна:

— Скажи мне, что тебе надо?

Эта красивая молодая женщина спрашивает так, что вопрос ее не нуждается в ответе. Разве не ясно по тону ее, по сухо сложенным в короткую фразу словам, что все ею уже решено? Притом бесповоротно. Любовь уходит и приходит новая. Все в этом мире переменчиво. И в первую очередь любовь. Что есть любовь? Влечение души или плоти? Скорее души. Падшая женщина тоже способна любить. Не всякие деньги приносят любовь или нечто похожее на любовь. Все это объяснять Хусейну, молодому влюбленному, разъяренному меджуну? Напрасный труд!.. Сколько ему лет? Двадцать пять? Разве мало, чтобы понять, что к чему?..

Брови ее, тонкие, как линии на бумаге, подняты высоко. Губы ее, пухлые, алые, созданные для сладких поцелуев, капризно надуты. Ресницы ее, такие длинные, загнутые вверх, замерли в красивой суровости. Пальцы ее рук, длинные как ивовые прутья, переплелись, и все десять длинных ногтей сверкают огнем ширазской краски. Высокая шея держит голову ровно и твердо — признак холодной настороженности. О чем спрашивать эту красавицу? Что требовать от нее? Какого ответа? Он написан, этот ответ, на лбу ее, белом и небольшом, на губах ее, он недвусмысленно сверкает в глазах Эльпи. Вся поза румийки говорит «нет». А меджун все еще с надеждой глядит на нее!

Она сидит на хорасанском ковре, поджав под себя ноги, по-женски красиво, по-женски неотразимо. И глаза меджуна невольно останавливаются на пальцах ног ее, чистых, как галька в роднике, приятных, как вода в пу-стыне...

— Скажи мне, что тебе надо? — повторяет Эльпи.

Да, Хусейн понимает, что необходимо ответить на этот вопрос. Разве не должна она знать, чего надо ему? Любви ее, взгляда ее, сердца ее! И он находит в себе

силы, этот неистовый меджнун, чтобы заставить язык свой высказать все, что на сердце его.

— Эльпи, мне трудно говорить...

— Из-за моего господина?

— Да. И я скажу кое-что. Хочу, чтобы спала пелена, которая мешает твоим глазам определить, где твой истинный друг... — Он перевел дыхание, попытался забыть о нем, этом господине, нынче молчаливом. — Я хочу напомнить о том, что сказала ты звездной ночью в Багдаде...

— Напомни.

— Ты сказала: «Я твоя навечно». Сказала?

— Да! — Эльпи не повела при этом даже бровью.

— Ты сказала: «Я пойду за тобой в огонь и в воду».

— Верно, сказала.

Хусейн всплеснул руками. Он потрясен. Более того: потрясено все его существо правдивостью ее, прямооты ее. А ведь могла бы отказаться, могла заявить, что замятовала. Вполне могла! Но нет, она подтверждает его слова, Да еще как! В присутствии своего господина. Ладно, он пойдет дальше, он напомнит ей кое-что, чего она не ждет. И меджнун несется вперед очертя голову. Все ему теперь нипочем!

— Ты целовала меня?

— Да, целовала.

— Я знаю тепло твоих ног.

Она утвердительно кивает.

Меджнун искоса глядит на господина Хайяма, но выражение лица у того отсутствующее. Его будто во все нет среди этих стен, словно он далеко отсюда. И это немного смущает меджнуна. Он теряет уверенность, напористость...

— Напоминая обо всем этом, Эльпи, я говорю тебе: оставь этот дом, я внесу деньги за тебя, я сделаю все, чтобы ты была хозяйкой в моем доме.

Но разве не знает она, что нет у него ни денег, ни

дома, нет ничего, кроме чрезмерной горячности и желания любить красивую женщину?

— Я соберу деньги... У меня много богатых друзей, которые помогут мне, которые сделают все, чтобы соединить нас. Я и дом найду для тебя, и над ним будет небо такое же, как и здесь, и солнце такое же, как и здесь, и луна тоже...

Она, кажется, делается снисходительнее к нему, доверчивее к словам его. Она говорит тихо:

— Наверное, так...

Хусейн чуть не подпрыгивает от радости. Все как будто идет на лад. Нет, не может любить юная красавица этого пожилого — нет, старого! — человека. Это ясно. Это ясно даже слепому!

— Я не думаю, Эльпи, что твое сердце так быстро может позабыть любящее его сердце. Я говорю «не думаю», а теперь скажу так: я уверен, что два любящих сердца принадлежат друг другу вечно. Не так ли?

И снова, к его удивлению, она говорит:

— Да.

Что он слышит?! Что ему еще надо? Поскорее вызвать ее из этого ада. И Хусейн обращает свой взгляд на господина Хайяма. А тот по-прежнему каменный, по-прежнему отсутствующий. Слышал ли он все, что говорилось здесь?

— Эльпи! — кричит горячий меджнун. — Прошу тебя: скажи господину, потребуй от него своего освобождения на законном основании. Я внесу все деньги, необходимые для этого!

И взволнованный меджнун умолкает. Теперь необходимо вызвать господина Хайяма на объяснение, надо вырвать из него слово. Его молчание не только настораживает, но и озлобляет. Кто может поручиться за долготерпение меджнуна? Разве он не из плоти? Разве он не че-

ловек? И он не посмотрит на то, что здесь он в гостях. Ради Эльпи пойдет на все...

А хаким сидит, и дыхания его не слышно. Сущий индийский идол, безжизненный идол. И глаза его полуприкрыты. И руки скрестились на груди. Невольно задаешься вопросом: а слышат ли уши его? Не оглох ли он от любви или равнодушия? Что это с ним творится?

На всякий случай Ахмад стоит за дверью. Нет, нельзя оставлять господина с этим сумасшедшим! Что, ежели Хусейн подымет на него руку? Этого можно ждать от неистового меджнуна. Ибо любовь его есть болезнь его, болезнь сердца, недуг души... Ахмад глядит в щелочку, которая на высоте глаз его. Не спускает взгляда с меджнуна, как орел с ягненка на краю пустыни...

Эльпи молчит. Она молчит напряженно, долго молчит в шемящей тишине, в которой бьются три сердца. Их стук доносится даже до Ахмада. И Ахмад решает, что это есть тишина, полная глубокого значения, тишина чрезвычайная, которая разрывается в конце концов громоподобно.

Эльпи ни на кого не смотрит. Она смотрит куда-то в себя, словно в зеркало... Что-то она скажет?..

«Ежели попросит помощи, пусть не ждет пощады этот ученый соблазнитель. А ежели отвергнет?..» — Так говорит про себя влюбленный Хусейн.

«Ну что ж, — думает хаким, — дело близко к развязке. А этот меджнун очень влюблен, но не в этом беда. Худо, что он вовсе потерял голову или, что еще хуже, глуп от рождения. Сидит себе меджнун, сидит и ждет ее решения. Но какого?»

Эльпи заговорила. Спокойно. Неторопливо. Точно читала по бумаге. Говорила она по-арабски так, что казалось, всю жизнь прожила в Каире или Багдаде. Откуда у нее такой великолепный выговор? Но не будем ломать над этим голову, лучше послушаем ее. Вот ее слова:

— Дорогой Хусейн, я изменяла своему прежнему хо-

зяину, ибо ненавидела его. А за что было любить его? За скаредство? За скотство и грубость? За обжорство и пьянство? И я изменяла ему. И он поймал нас с тобою, и ты был бит. И я была нещадно наказана. Он продал меня. Он разлучил нас. И только великий бог соединил нас в Багдаде. Я любила. Не кривила душой, слушала свое сердце, свою душу.

Меджнун сиял. Будто месяц в ясном небе. Он был рад, у него выросли крылья. Он готов был летать. Нет, не подвела его Эльпи, говорила она сущую правду, не щадя себя, не стесняясь Хакима, хозяина своего!

Эльпи продолжала:

— Да, ты знал тепло моих ног. Ты имел все, что хотел. И я не жалею ни о чем...

Меджнун готов встать из-за столика, взять ее за руку и вывести из этого проклятого дома... Но Эльпи продолжает:

— Я не обманывала тебя. И к чему обман? Это худшее из того, что я знаю. Я верила тебе и доверяла. Почему бы и нет? Разве ты плох? Посмотри на себя: ничем тебя не обидел бог. И право, было бы глупо не любить тебя, особенно если рядом с тобой негодяй, мнящий себя великим меджнуном.

Хусейн на радостях потирал руки. Они сейчас уйдут отсюда — в этом он не сомневался. Но куда? Где дом его? Где крыша над головой? Кто построил ее? И когда?

А Эльпи говорит:

— Я отдаю должное твоей смелости и самоотверженности. Кто действовал смело? Ты. Кто не жалел своих сил, чтобы вырвать меня из когтей уроды? Ты. Кто не думал при этом о своей безопасности, кто презирал опасность? Ты. Неужели можно забыть все это?

— Нет! — кричит Хусейн, восхищенный ее словами, в которых сплошная правда...

И она вдруг холодно заключает:

— И все-таки, несмотря на все это, я прошу тебя об одном: оставь меня.

Хусейн ничего не понимает. Эти слова плывут мимо него.

— Да, очень прошу; оставь меня. Я объясню тебе почему: я люблю другого. Не будем обсуждать это. Сердце очень часто не подвластно нам. Я остаюсь здесь на законном основании, то есть у своего законного хозяина.

Теперь-то, кажется, он кое-что понял. И тогда, шипя змееподобно, Хусейн вопрошает:

— Ты это говоришь мне? Повтори, что сказала...

Он и приказывает, и умоляет в одно и то же время. Она встает и, не говоря более ни слова, выходит из комнаты. В боковую потайную дверь.

Хусейн не в состоянии даже посмотреть ей вслед. Уперся взглядом в одну точку и словно язык проглотил. Нет, о чем он думает?

Неожиданно голова его падает на грудь. Упирается в нее мощным подбородком. И Хусейн вздрагивает всем телом. Раз, другой, третий... Плачет он, что ли? Да нет же, рыдает! По-настоящему. По-мужски тяжело и неслышно.

Хаким хлопает в ладоши: раз, два!

И тут входит Ахмад. Слуга видит озабоченное лицо хакима и сгорбившегося несчастного меджнуна.

— Ахмад, — приказывает хаким, — вина и еды!

Слуга кланяется и выходит.



6

ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О СТРАННОЙ ТРАПЕЗЕ

Хусейн все еще сидел, уронив голову на грудь. И рыдал беззвучно, потеряв мужской стыд.

В комнате горят светильники — такие высокие, стройные, медно-желтые. Они сработаны исфаханскими чеканщиками. Ширазские ковры утепляли каменный пол, холодный даже летом. Дом этот был специально построен для хакима. Его превосходительство главный визирь Низам ал-Мулк приказал соорудить его, щедро выдавая деньги из казны. Здание без особой роскоши. Оно удобно для жилья, работы и размышлений, но лишено внешней привлекательности. Кажется, строители и не заботились об этом. Дом стоит посреди платанов, и внешность его просто теряется в зелени. Два этажа связаны между собой широкой деревянной лестницей. Она ведет наверх из большой прихожей, посреди которой голубеет водяная чаша мраморного бассейна. Окна высокие и узкие. Внутри здания царит полумрак, следовательно, здесь прохладно, то есть прохладно настолько, насколько этого может добиться опытный зодчий...

Ахмад принес белую скатерть, кувшин вина и фрукты. А также круглый хлеб, белый как снег. Он не спеша разложил все это перед мужчинами, стараясь не смотреть в сторону меджнуна.

Хаким переломил хлеб и протянул кусок меджду-

ну — грех отказываться от гостеприимно протянутого ломтя.

Меджнун, к удивлению Ахмада, взял хлеб и машинально направил его в рот. И пожевал немного. Безжизненно, безвкусно. А ведь это был теплый исфаханский хлеб!

И в полной тишине хаким обронил:

— Жизнь земная вечна, вековечна...

И снова в комнате стало тихо. Ахмад стоял в стороне неподвижно. Меджнун беззвучно жевал.

Поскольку меджнун молчал, то есть так молчал, что, казалось, не слышит ничьих слов, хаким счел необходимым несколько иначе выразить свою мысль. И он сказал:

— Жизнь беспредельна, и нет у нее ни начала, ни конца, ни каких-либо границ...

Было ясно, что истина, о которой хорошо осведомлены даже носильщики на базарах Исфахана, предназначена для ушей Хусейна. Теперь уже меджнун не мог не отозваться тем или иным образом на эту общеизвестную истину. Ибо ясно одно: если тебе навязывают простую мысль о том, что единица, будучи присоединена к единице, равняется двум, то это кое-что да значит. Неспроста, стало быть, объясняются с тобой простейшими истинами. А зачем говорить об этом за столом? Может быть, для того, чтобы отвлечь внимание от главного? Но разве любовь заноза? Разве ее так просто вынуть из сердца? Нет, хаким затевает долгий и сложный разговор. Это несомненно. Все теперь зависит от Хусейна. Стоит ли вести беседу в его положении? После того, как Эльпи произнесла свои безжалостные и непонятные слова?..

А хаким продолжал:

— Жизнь человеческая, жизнь одной особи есть мгновение. Она сверкает светлячком в беспредельной беспредельности, в беспокойном, извечном потоке...

Разве дервиши не о том же толкуют? Самый послед-

ний дервиш в караван-сарай. Разумеется, жизнь одного человека — это вспышка в ночи или при дневном свете. Это миг один-единственный. Кого же может поразить и эта потерянная истина?

Однако, как видно, Хакиму нужен язык меджнуна, а не истина. Надо развязать язык Хусейну. В этом все дело.

Меджнун вдруг почувствовал приступ голода. Это с ним бывало после душевной встряски. Говоря откровенно, он плохо ел все эти дни. И не ощущал голода. А вот теперь, когда эта проклятая Эльпи вылила на него кувшин холодной воды, когда его потряс невероятный холод, чуть не перешедший в озноб, ему захотелось есть. Тем более что стол воистину великолепен: белая, снежная скатерть, яркая зелень, белый хлеб и агатового цвета вино. Очень трудно удержаться...

— Друг мой, — говорит хаким, обращаясь к меджнуну, — доставь удовольствие этому дому: попробуй немного, голодный желудок — плохой помощник в любом случае.

И налил вина. Оно заиграло так, что рука не могла не потянуться к чаше. И она, представьте себе, потянулась, и чаша оказалась в руке меджнуна. И губы сами приникли к прохладному глиняному краю. И меджнун отпил вина. А потом быстро осушил чашу и сказал Ахмаду:

— Еще, если не жалко.

Ахмад мигом бросился к гостю и наполнил чашу. Меджнун выпил и эту. И на сердце у него полегчало. И он сказал:

— Насколько я уразумел из твоих слов, господин Хайям, жизнь беспредельна, а человек в ней точно козявка.

— Не совсем так, — возразил Хайям, — я сказал, что человеческая жизнь не долее века простенького светлячка.

— Стало быть, наша жизнь коротка?

— Да, Хусейн уважаемый, и даже очень.

— И что из этого следует? — Меджнун уставился на ученого мужа, на похитителя прекрасной Эльпи. Впрочем, надо разобраться еще, насколько она прекрасна...

— Только одно, — с готовностью ответил Хайям: — Лови миг, живи в свое удовольствие и не осложняй свою жизнь. Особенно неудавшейся любовью.

— Понимаю, — сказал меджнун, — ты хочешь принести мне успокоение. Богатые вроде тебя всегда идут бедным навстречу: сначала обирают их, потом успокаивают стаканом родниковой воды или вина.

Хаким медленно приподнял правую руку. И ладонь его подалась резко вправо, а потом влево: он дал понять, что меджнун не прав.

Хусейн горько усмехнулся. Но, казалось, смирился: и уплетал, что называется, за обе щеки, и запивал вином. Откуда это прекрасное вино? Сказать по правде, он ни разу ничего подобного не пробовал. Может быть, из погребов самого султана? И чем его так остудили? Имеется ли поблизости родник? Или подвал так прохладен, что все стынет небывалым образом? Аллах с ним, со всем этим! Важно, что вино хорошее, холодное.

Омар Хайям объясняет, что он имел в виду, повторяя общеизвестные истины. Говорит, попивая вино:

— Вот ты, Хусейн, сидишь передо мной. Наверное, ты вдвое меня моложе. Наверное, и вдвое менее опытный в жизни. И то, что я скажу, — можешь поверить мне — чистая правда. И все это от чистого сердца. Ты, несомненно, таишь на меня обиду, а может, даже и злобу. Мне тоже не за что благодарить тебя — ты уже доставил много неприятного. А почему?.. Я отвечаю тебе сам.

Омар Хайям пригубил — раз, другой, третий. Омар Хайям не спускал глаз с молодого меджнуна. И тот слушал старшего как бы поневоле. Нельзя было не слушать.

— Мы часто делаемся несчастными оттого, что забываем о простых истинах. Мы держим их в голове, как ненужную или малоинтересную вещь. А почему? Почему мы не возвращаемся к ним, простым истинам?.. Почему обижаемся, когда напоминают нам о них?

Меджнун хотел что-то возразить, но каким жестом остановил его.

— Дай договорить, прошу тебя... Почему я напомнил тебе о бесконечности жизни, о нескончаемой жизни некой субстанции, из которой, как это утверждали еще греки, состоит весь мир, все живое и мертвое? И почему я сказал о мгновенье, в которое мы живем? Я связал вечность и мир, мир и наше краткое существование. Все потому... — каким сделал паузу. — Все потому, что ты, если действительно любишь эту молодую женщину по имени Эльпи, не можешь не мыслить, не можешь не быть своеобразным философом, неким мудрецом или просто рассудительным. Ты меня понял?

Меджнун кивнул. (Судя по тому, что знал он арабский язык, грамота отнюдь не была чужда ему. Это всегда заметно, когда имеешь дело с человеком грамотным, малограмотным или вовсе не грамотным.) Он сказал:

— В общем, мне понятна твоя мысль, но мне неясно одно...

— Что именно, Хусейн?

— К чему все это? — Он имел в виду и эти разговоры, и эту трапезу.

Омар Хайям рассмеялся, предложил осушить чашу до дна.

— Я ждал этого вопроса. Слова мои направлены только к одному... Я хочу, чтобы ты уразумел хорошенько одну простую вещь: мы живем недолгий срок. Увы, недолгий!

— И что же?

Хаким покачал головой, и взгляд его стал грустным, словно вспомнил он нечто весьма и весьма огорчительное.

— В этот недолгий срок, — хаким, кажется, обращался только к себе, — мы должны уместить и горе свое, и радости. Мы должны и полюбить, и разлюбить, должны очароваться и разочароваться. Многое предстоит пережить. Лоб наш покрывается сеткой морщин. Сердце бьется все глуше и глуше. Мозг устает от постоянных забот. Колени слабеют с годами и пропадает зрение... Я выхожу из дому, ступаю на землю и вдруг ловлю себя на том, что ступил на прекрасный глаз...

— Глаз? — спросил удивленный меджнун.

— На прекрасный, Хусейн, на великолепный глаз!

— Это как же понимать? — Хусейн сам налил себе вина и выпил залпом. Ему становилось все легче и легче.

— Понимать следует в прямом смысле. Я ступаю на прекрасный глаз. И ты ступаешь на прекрасный глаз. Все мы шагаем по прекрасным глазам.

Меджнун подивился этим словам, отставил чашу, перестал есть. Он вытер губы грубым платком, ухватился руками за собственные колени, словно пытался вскочить,

— Мы? С тобою? По глазам?.. По прекрасным глазам? — наконец вымолвил он.

— Да, по самым настоящим, самым прекрасным, которые и плакали, и смеялись. Это были сестры Эльпи, это были ее подруги, ее предки, ее родители. — Хаким наклонился и произнес доверительно: — Кто-нибудь когда-нибудь ступит и на ее глаза.

— На глаза чудесной Эльпи?! — вскричал меджнун.

— Да, — безжалостно произнес хаким.

— О аллах! — Хусейн вскинул руки, закрыл ими лицо и застыл. Так он просидел в полной неподвижности почти целую минуту.

Хакиму тоже тяжело. Но что поделаешь, такова жизнь. Не ему переделывать ее. Так создал ее тот, который над

хрустальным небесным сводом сидит и все знает, все зрит и ничего не предпринимает для того, чтобы восстановить справедливость, чтобы не убивать прекрасные глаза, яркие, как звезды в небе.

— Вот видишь, — продолжал хаким, — как скверно мы живем, как жалок наш мир и вместе с ним все мы и как жесток создатель всего сущего. — Ему хотелось втемяшить эту мысль в голову молодого меджнуна: — Вот ты расстроен. Нерадостно и мне. Мы оба охвачены жалостью к глазам тех, кого уже нет, мы осознаем несправедливость, царящую в этом мире...

— Это ужасно, — вздохнул меджнун, отнимая руки от побледневшего лица.

— Это не то слово, — сказал хаким. — Несправедливо все от начала и до конца! Кто меня позвал сюда? Он! — Хаким указал пальцем наверх. — Кто гонит меня прочь? Он! Кто заставляет меня страдать сверх всякой меры? Он! А зачем?

Хаким повернулся всем корпусом к меджнуну. Он смотрел на него так, как смотрит великий индусский маг на очковую змею. Омару Хайяму хотелось, чтобы молодой человек сам ответил на этот вопрос — «зачем?». Хаким налил вина и почтительно поднес собеседнику чашу. Меджнун с благодарностью принял ее. Он не мог не принять с благодарностью, ибо слова хакима западали ему в самое сердце, хотя и не совсем понимал он, к чему тот клонит свою речь.

— Не знаю зачем, — чистосердечно признался меджнун и, к своему удивлению, услышал:

— И я не знаю зачем.

— В таком случае где же истина, где правда? — спросил молодой человек.

Омар Хайям улыбнулся, поднес к губам чашу и сказал:

— Истина на дне.

И выпил. И то же самое проделать посоветовал он Хусейну. И Ахмаду тоже. Хаким вроде бы отшутился. Так подумал меджнун. Однако это было совсем не так.

— Вот, стало быть, дело какое, — сказал Омар Хайям, — живем мы с тобой считанные годы. И Эльпи тоже. Неужели же эти малые годы мы должны отравлять друг другу? А?.. Неужели, уважаемый Хусейн, не хочешь тебе прожить эту жизнь красиво? Разве секрет, что мы обратимся в глину? Самое ужасное заключается в том — прошу извинить меня за эти слова! — что даже глаза милой Эльпи не избегнут этой участи. Когда проклятая смерть набьет ей землю рот. Причем безо всякой жалости...

Хаким подождал, чтобы убедиться в том, что слова его действительно произвели впечатление на меджнуна. Тот глядел в полную чашу и молчал. Слушал, не глядя на хакима. А за спиною его торчал недвижимый Ахмад с пустою чашей в руке.

— О аллах! — негромко произнес Омар Хайям. — Что же это получается? Дни жизни нашей строго отмерены в небесах, а мы грыземся, как голодные гиены в пустыне. Отравляем существование себе и другим. Я хотел, чтобы ты услышал сам то, что услышал. Из уст самой Эльпи. И чтобы не мучился ты больше. Чтобы не тревожилась и она.

Хусейн горько усмехнулся.

— Ты молод, и ты будешь еще любим. Ты настоящий меджнун, и тебе повезет в жизни. И не раз.

Хусейн медленно встал, чтобы не пролить ни капли вина. Выпил всю чашу и разбил вдребезги, швырнув ее в угол. Вытер губы платком, злобно повел глазами, из которых впору было сверкнуть молнии, и четко выговорил:

— Будь проклят ты с твоею любовью и твоим учением!

И стремглав выбежал. Совсем как бешеная собака.
И откуда-то издали донеслось:

— Мы еще увидимся! Я, я...

Хаким пожал плечами, помял в пальцах кусочек свежего хлеба и поднял глаза на Ахмада.

— Может, я был не прав, Ахмад? А?

Ахмад ничего не ответил.



7

ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ,
О ЧЕМ ХАКИМ БЕСЕДОВАЛ
С ЭЛЬПИ

Вечер был тихий и нежный: вверху сверкала луна, за балконом стояли молчаливые кипарисы — они были почти черные на фоне светло-зеленого неба, — пели высоким голосом цикады. Одним словом, такой вечер на руку влюбленным, он помогает высказать то, что не всегда может выразить язык в другое время суток, он возвышает душу и заставляет особенно биться сердце.

А что было бы, если бы вдруг не стало этой огромной луны? Если бы вдруг перестали петь цикады, а кипарисы поникли своими гордыми верхушками?..

Эльпи не представляет себе, что бы стало тогда. Однако бог, создавший все сущее, наверняка придумал бы еще что-нибудь, чтобы влюбленным было хорошо.

Хаким укорил ее. Он сказал:

— Разве не достаточно самой любви? Разве требуется ее расцвечивать как-то по-особенному? Настоящая любовь сама способна светиться, подобно солнцу. Свет луны может померкнуть перед нею.

Она посмотрела на него такими большими, большими глазами. Эта румийка с Кипра все-таки была удивительно хороша!

— О чем ты думаешь? — игриво спросила Эльпи.

— В эту самую минуту?

— В это самое мгновение!

Он колебался: ответить ли ей прямо? Ее тонкие пальцы лежали покойно на груди ее. Но не было в этом кокетливом положении рук и тени женской покорности. Одно сплошное лукавство, выраженное едва приметным дрожанием пальцев...

Потом он перевел взгляд на ее ноги, на ярко-красные с фиолетовым оттенком ногти. Не было изъяна в этих ножках, даже ступни, нежно-розовые, были холеными, как у знатной хатун. Разве не эти ножки обратили на себя его внимание там, на рынке? Разве не их в первую очередь расхваливал ее хозяин — грубый торговец невольниками из Багдада?

И он ответил Эльпи по справедливости откровенно. Он сказал:

— Я подумал о великом соответствии твоих рук и ног. Красота их так необходима! Без нее женщина многое проигрывает.

— А глаза? — спросила Эльпи.

— Глаза всегда привлекательны. В них просвечивает мягкая и нежная душа. Но признаться, гармоничные руки и ноги есть первейшая необходимая женская принадлежность.

Эльпи очень обиделась за женщин. Она переложила руки с груди на колени. А веки опустила книзу, и ресницы при этом метнулись черными молниями. Румийка хорошо знала силу рук своих и чары ресниц своих.

— Ты говоришь о женщине как о каком-то неодоушевленном предмете.

— Нет, я говорю о самом главном, что мне нравится в женщине, — сказал Омар Хайям. — И говорю потому, что ты обладаешь всем этим.

— Правда? — шуточно спросила Эльпи. И это вопросительно-шуточное «правда?» было неподражаемо.

Однако хаким оставался с виду спокойным, и это начинало возмущать Эльпи: как, этот пожилой человек до

сих пор равнодушен к ней? Спокойно попивает вино, поглаживает бородку, глядит на Эльпи прищуренными глазами...

— А все-таки где твои жены? — неожиданно спрашивает она.

— У меня их нет.

— А жена?

— И жены нет.

— Ты мусульманин? Ты веришь в аллаха?

Он усмехается. Потом задумывается. Хитро поглядывает на нее: зачем это понадобилось ей? Что ей в вере его? Эта красивая женщина... Этот небольшой женский ум... И он говорит:

— А если полумусульманин?

Она удивлена: разве бывают такие?

Он кивает: дескать, бывают.

— Что же другая половина? Как тебя считать по другой половине?

— Тебе это очень хочется знать?

— А почему бы и нет? — Эльпи обнимает руками свои колени.

Ее змеевидные пальцы перед глазами его. Он смотрит на них. Не может оторвать глаз. Они нравятся ему...

— Считаю полубезбожным, — говорит Омар Хайям и Допивает вино.

— Как ты сказал, мой господин?

И он повторяет, разделяя слоги:

— По-лу-без-бож-ник... — и подчеркивает: — полу...

Эльпи так и не уразумела до конца: всерьез это или в шутку?

— А я верю в своего бога, — сказала она. — Он всегда со мной. Если бы не он, я не выбралась бы живою из множества бед, которые уготовил сатана. Если бы не он, я не оказалась бы у тебя.

Омар Хайям налил ширазского вина, красного, как кровь, и сказал:

— Вот тут ты сама подвела беседу к тому делу, которое меня более всего занимает. Но сначала выпьем.

Он пил с удовольствием, пил, не сводя с нее глаз. Понуждая ее к тому же легкими кивками головы. Они выпили чаши до дна. И она подумала: хорошо, что он полубезбожник. А иначе он пил бы только шербет*. Пить только шербет так скучно, особенно если вокруг тебя сама госпожа по имени Любовь, если она царит безраздельно. В прочие времена это не всегда важно, шербет или вино. Можно прекрасно обойтись и водою. Нет, хорошо, что он «полу...». И тем не менее он немного странноват: без жен, даже без жены, пьет вино и называет себя полумусульманином. И это в самом Исфахане!

Он берет ее руку в свои и, поглаживая нежную, белую кожу, говорит очень тихо, но внятно:

— Объясни мне, Эльпи... Скажи по правде... Объясни мне: почему ты все-таки предпочла меня? Почему не ушла к этому молодому, красивому Хусейну? Ты же знала, что я отпущу тебя, если ты этого пожелаешь. Что я только для вида стану тебя удерживать. Что от тебя зависит все, от твоего решения. Пойми меня: я старше тебя вдвое... Я богаче Хусейна, но это для тебя, возможно, не имеет значения. Я хочу знать, Эльпи: насколько искренне твое желание остаться здесь? Отвечая мне, ты можешь быть убеждена в том, что удерживать тебя силой не стану, мне не нужно и выкупа, ты будешь свободна тотчас же и можешь уходить к... Хусейну, который тебя обожает.

Эльпи сказала:

— У меня тоже есть к тебе слово. Я тоже не все понимаю.

* Шербет — сладкий фруктовый напиток.

— Что именно? — он был немножко удивлен.

— Может быть, ты ответишь сейчас, и это поможет мне.

Она бросила на него взгляд, тот самый, который увлекает мужчину в определенном направлении и помимо его воли. Настоящий меджнун всегда покорен ему: это кролик под суровым взглядом змеи. Истинно так!

— Я очень тебе не нравлюсь? — Глаза Эльпи — две острых стрелы. И устремлены они на Омара Хайяма.

Он что-то хотел сказать.

Она продолжала:

— В том, что я тебе не нравлюсь, — почти уверена. Но я не знаю, почему ты в таком случае не продашь меня или почему не заставляешь прислуживать тебе, как служанку? Одно из двух: или я женщина, или я обыкновенная служанка, годная только для уборки или готовки пищи. Я здесь не день и не два, но не ведаю, кто я. А я должна это знать!

Она говорила еще в этом же роде, понемногу распаляясь, повышая голос, то есть выказывая все признаки женского возбуждения. Возбуждения приятного, притягательного, подходящего красивой женщине. Эльпи была то ли рождена для любви, то ли умелые гранильщики алмазов сделали из нее женщину настоящую — с горячим сердцем, нежной душой, непреклонную в любви и жаждущую любви.

Вопрос ее был не из простых. На искренность следует отвечать искренностью. Любовь на этой земле должна цениться превыше всего. Ее не возьмешь с собою на тот свет. Невозможно любить в кредит. И не надо упускать ее, если это любовь подлинная, а иначе обкорнаешь себя, и притом беспощадно.

Он все еще поглаживал ее руку, а она ждала его слов.

— Я не знала еще столь терпеливого мужчину...

— Да?
— Или столь холодного...
— Возможно...
— Или у тебя целый гарем в твоей обсерватории?
— Гарема у меня нет, — проговорил он.
— В таком случае я не нравлюсь тебе! — воскликнула Эльпи и заплакала.

Признаться, Омар Хайям был удивлен и озадачен. Не ждал от нее такого. Значит, в ней билось сердце пылкое и любвеобильное. Но откуда такое у продажной женщины? И он тут же поймал себя на том, что несправедлив к ней. Разве не была она игрушкой с отроческих лет? Разве сильные мира сего щадили ее? Разве была она в глазах их человеком, равным им во всем? И кто щадил ее самолюбие? Кто уважал в ней человека? Она стала такою, какою стала. Нельзя от нее требовать чего-либо необычного. И зачем, Собственно, требовать?..

— Хорошо... — сказал он.

Она отвернулась, чтобы скрыть свои слезы.

— Хорошо, — продолжал он, — отвечу тебе.

Омар Хайям дал ей возможность прийти в себя, подал вина. И сказал так:

— Нет, Эльпи, ты нравишься мне. Может быть, со временем я и сделаю глупость и влюблюсь в тебя. Именно поэтому я бы не хотел ранить тебя неосторожным обращением, не хотел заявлять своих прав. Мне нужна женщина, а не существо в образе женщины. Я хочу чувствовать душу ее, любя ее оболочку и откровенно любуясь ею. Признаюсь, я не из тех, кто ценит только душу. Она должна находиться в соответствующей оболочке. Разве я не вправе ждать, набравшись терпения, ответного чувства?

— Вправе, — прошептала Эльпи.

— Я не хотел бы, чтобы меня любила невольница только потому, что я ее хозяин.

Кажется, он растопил холодок, на мгновение остудивший ее сердце. Кажется, он в чем-то разубедил и в чем-то убедил ее.

Он привлек к себе Эльпи, и она была податлива. Ее соразмерный стан был совсем рядом, она приникла к нему легко, как мотылек. И плоть ее была невесомей дыхания ее.

— Ты обезоружил меня, — сказала она со вздохом. Ее щека лежала на его щеке. Она поглаживала его мягкую, шелковистую бороду. — Говорят, у мужчин с такой бородой и характер мягкий.

Она смотрела на него глазами, полными доверчивости. Она как бы искала покровительства...

Луна поднялась выше. Она стояла в дверях, готовая перешагнуть через порог и войти в эту обитель, чтобы разделить трапезу и разжечь сердца пламенем любви. Небо еще больше позеленело, оно стало похожим на луг, напоенный влагою Заендерунда. А кипарисы вовсе померчнели, стояли непреклонно гордые. Прохладой веяло от вечернего пейзажа, и хорошо, что в эти часы не горели светильники — они только помещали бы чудному мгновению, которое могло растянуться на часы.

Да, и посвист цикад слышался явственнее, чище. Он подымался в вышину, и странное ощущение тишины и покоя охватывало все живое. Небо и земля сближались в едином порыве, как два любящих сердца, и оттого мир становился еще прекрасней и привлекательней.

Держа Эльпи в объятиях, Омар Хайям не переставал любоваться небом и землею под небом...

Теперь уже ненужным казался ее ответ, которого он ждал в начале трапезы. Но человек есть человек, и он вечно жаждет подтверждения своим мыслям. Это у него вроде болезни. И он напомнил:

— Эльпи, ты обещала сказать... Почему я, а не Хусейн!

Она рассмеялась. И зубы ее сверкнули. И шея ее как снежная, и в глазах ее все живые струи Заендерунда. И вся Эльпи как ртуть, как живая вода из сказок древности. Вся она как сладкая песня в маленьком оазисе. Такая песня лечит, словно лекарство, такая песня — свидетельство победы над стихией пустыни и стихией смерти.

Она приблизила к нему свои губы, покрашенные красной помадой из Шираза, и сказала:

— Ты человек умный, а ждешь пустыка. Разве не ясно тебе, что ты мой возлюбленный, что я вижу сквозь твои одеяния то, что видит не всякий женский глаз, что сердце твое полно любви, а голова твоя — голова пророка? Почему же я должна предпочесть другого, почему должна мерить любовь мерилем лет?

Омар Хайям признал ее ответ достойным ее.

Он поцеловал ее в губы, жаждавшие любви, и рука его легла на грудь ее, твердую, как айва.

Он мельком взглянул на любопытствующую луну и бездумно отдался этой молодой, искусной в любви женщине.



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ,
О ЧЕМ ОМАР ХАЙЯМ БЕСЕДОВАЛ
С ГЛАВНЫМ ВИЗИРЕМ

Главный визирь его превосходительство Низам ал-Мулк пребывал в прекрасном настроении. Неторопливо поглаживал свою черную бороду. И в глазах его отражалась полная луна. Он восседал на жестких подушках, и розовая скатерть, похожая на гигантский лепесток персикового цветка, лежала на каменном полу между визирем и Омаром Хайямом.

Нынче было светло и без светильников и очень тепло.

Его превосходительству хотелось сегодня вечером подольше удержать возле себя этого ученого, которого он пригласил ко двору его величества после того, как слава Омара эбнэ Ибрахима вышла за границы Бухары, Балха и Самарканда, где умеют ценить слово мудреца.

Ученый был почителен: он слушал слова визиря обоими ушами, он глядел на своего покровителя в оба глаза, и в то же время он внимал легкому свисту цикад и следил за причудливыми сочетаниями лунного света и теней на широкой террасе. Казалось, весь огромный Исфахан нынче плывет, подобно ладье, в сплошном лунном молоке под небом, наполненным запахами всех цветов мира.

Луна нынче тем более была удивительна, что стояла она белоснежным агнцем посреди сплошной бирюзы — так красива была в эту майскую ночь небесная сфера!

И Зодиак двигался медленно, чтобы все светила вселенной могли полюбоваться прекрасным Исфahanом.

Его превосходительство строг в правилах, набожен и точно следует учению пророка. Поэтому не слышно звуков ни чанга, ни барбада *, и рабыни не услаждают мужских глаз своими жаркими плясками. И не раздаются слова нежных газелей. Все значительно проще. Темный нубиец прислуживает мужчинам. Он старается держаться в тени, чтобы не становиться между луной и его светлостью — главным визирем Малик-шаха. Нубиец высок, гибок, словно кипарис, и молчалив...

Лунный свет падает на лицо Хакима. Глаза его широко открыты, небольшая борода, словно легкая повязка, тянется от уха и до уха.

Нубиец принес сосуд с шербетом, два тонкостенных фиала, сушеных фруктов, миндаля в сахаре. Его светлость притронулся к кувшину: от сосуда повеяло прохладой. И его превосходительство подумал про себя: «Это хорошо». Потом он взглянул на раба своего вопросительно, не роняя ни слова. Нубиец не понял его. Оглядел суфру — не позабыл ли поставить чего-нибудь? Но все как будто было в порядке.

— А еще? — сказал визирь.

Нубиец не понимал господина, он не трогался с места, и его светлость улыбнулся. Омар эбнэ Ибрахим Хайям знал эту улыбку: широкую, открытую, истинную улыбку человека, у которого широкое сердце и который снисходителен к человеческим слабостям.

— Омар, — сказал он мягко, — скажи этому истукану, чего недостает этой скудной суфре...

Омар Хайям бросил взгляд на суфру: она розовела по мере того, как луна поднималась выше, а Зодиак поворачивался к Исфahanу всеми своими яркими созвез-

* Чанг и барбад — музыкальные инструменты.

днями. Ученый не смог определить, чего же не хватает здесь. Мяса? Но ведь было сказано: фрукты и шербет! Какой-нибудь посуды? Но ведь все налицо: тарелки, фиалы, кувшин...

И визирь пришел на помощь. Он сказал:

— Я, кажется, намекнул достаточно ясно: вина недостает столу!

Нубиец разинул рот. Раб хорошо знал, что его превосходительство не терпит вина. Так зачем оно?

А визирь продолжал:

— Приятная беседа требует вина... Не так ли?

Нубиец молчал из страха перед гневом господина. А ученый из почтительности.

— Я жду ответа, — сказал визирь.

— Лучшая часть застолья, — сказал Омар, — это беседа.

— Верно, — согласился его светлость. — Беседа — показатель ума. И все-таки?

И он обратил свой взор к нубийцу, который стоял в тени и почти слился с нею. Он словно бы стал своей собственной тенью. Бесплотной. Как и надлежит рабу.

— Шербет и миндаль — что может быть лучше? — сказал Омар, чтобы угодить визирю.

На этот вопрос, обращенный к кому-то, ответил сам визирь:

— Лучше вино! Так говорят...

И он подал знак нубийцу. И вскоре появились на суфре кувшин красного и кувшин белого, как небосклон на рассвете, вина.

— Поэты любят вино, — сказал визирь.

— Да? — удивился Омар.

— А разве нет?

Омар пожал плечами. Он сказал, что не очень хорошо знаком со стихотворцами. Да, кажется, поэты любят вино, ибо оно будоражит сердце и фантазию...

Ученый увидел — причем очень ясно, — что визирь прищурил левый глаз, а потом пыхнул толстыми губами, слегка прикрытыми негустой растительностью усов.

— Можно подумать, что ты только понаслышке знаешь поэтов, — проговорил он насмешливо.

И его превосходительство прочитал некие рубаи про вино и про жизнь, воскрешаемую хмелем, про счастье, навешиваемое им.

— Твои? — спросил он Хакима.

— Возможно, — ответил Омар.

Визирь поразился.

— Как это — возможно?! Разве ты сомневаешься в этом? Разве не узнаешь своих рубаи?

— Я не поэт, — серьезно ответил ученый. — Моя профессия — математика и астрономия. И философия.

— А стихи? — сказал визирь.

— В свободное время, — отвечал ученый. — Иногда.

Визирь развел руками. Велел налить вина, что нубиец выполнил с величайшей расторопностью.

— Мои мечты не о стихах, — сказал жестко Омар.

— А о чем же? — визирь пригубил шербет и поставил фиал на место. — О чем же, Омар?

Хаким выпил вина, поднял вверх фиал и, словно бы провозглашая нечто идущее из глубины сердца, сказал:

— Моя голова и все существо мое заполнены мыслями об обсерватории. Только о ней!

Ученый посмотрел на луну. Она была очень яркая, как эта суфра на холодном каменном полу. Она плыла меж прозрачных облаков, и вместе с ней плыли все светила великого Зодиака, недостижимого для взоров и ума человека.

Тогда визирь прочитал на память еще рубаи. В четырех стихах, срифмованных строка к строке, восславлялась женщина, ее любовь, красота плоти ее. И снова со-

щурил глаз визирь, будто пытался уличить своего гостя в чем-то недозволенном.

— Чьи это слова? — спросил визирь, имея в виду стихи.

— Возможно, и мои, — уклончиво ответил Омар. — Однако я приехал в этот прекрасный город не стихи писать, но заниматься астрономией. — Он воодушевился: — В наше время над всем духовным господствуют математика и философия. Только они способны возвеличить душу и ум человеческий!

Визирь не стал горячить ученого обостренным спором. Но заметил, отхлебнув шербета:

— А поэзия?

— У поэзии свое место. Несравненный Фирдоуси это доказал всей своей прекрасной жизнью. Однако мой учитель Ибн Сина отдавал предпочтение философии и медицине, то есть наукам, которые есть следствие большой работы ума, нежели души. Ибн Сина — образец для меня до конца дней моих!

Тут луна выглянула из-за причудливой алебастровой решетки, которой сверху была украшена терраса, и в полную силу осветила лицо Хакима: оно было вдохновлено, и великая горячность души его отображалась в глазах. Визирь сказал себе, что не ошибся, приглашая Омара эбнэ Ибрахима по прозвищу Хайям в столицу — Исфакан. Если молодому человеку суждено совершить в своей жизни нечто, то он совершит это именно здесь, в Исфакане. Разве в нынешнее время могут дать ему средства, необходимые для строительства обсерватории, даже такие города, как Бухара или Самарканд, не говоря уже о родном Хайяму Нишапуре?..

— Омар, я не знаю, продолжаешь ли ты писать рубаи, — сказал визирь. — Я не хочу вникать в это. Ты полон сил, а я уже на грани старости и могу оценить то,

что звездой горело во мне и теперь уже затухает... Увы, увы, это так — затухает...

Визирь велел нубийцу принести уксуса, а заодно зажаренных цыплячьих грудок. Холодных. Пусть на столе полежат эти поджаренные румяные грудки, может быть, и приглянутся...

Раб исполнил это...

Хаким тут же взял одну из хрустящих грудок. Он ел, но чувствовалось, что ел он, совсем не думая о еде, и не от голода, а как-то не отдавая себе отчета. Его занимало нечто более важное.

— О великий, я прибыл сюда в надежде сделать кое-что по части астрономии и математики, а также философии, — говорил Омар. — Я хочу, чтобы ты, чья поддержка расширяет мою грудь и придает силу моей душе, заверил его величество, что ни один динар* не пойдет на поэзию, но будет служить единой цели: науке, и только науке!

— Похвально, — с улыбкой сказал визирь и, поискав глазами фиал с шербетом, взял его и с удовольствием освежил свое сердце. — Но тот, в ком есть высокое призвание поэзии, уже болен. Больше того: он одержим!

Омар запротестовал. Особенно горячо. Может быть, потому, чтобы до ушей его величества не дошли рассуждения о поэзии, о ее превосходстве над наукой или даже равенстве с наукой. Ибо его величество Малик-шах при всем своем уважении к газелям и касыдам**, рассчитывает иметь собственную обсерваторию, собственных ученых при дворе, с тем чтобы астрология, так необходимая для благополучного управления делами, опиралась на прекраснейшую, современную во всех отношениях об-

* Динар — монета.

** Газели, касыды — небольшие, чаще всего любовного содержания, стихотворения в поэзии народов Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана.

серваторию. Вот на что предназначал он динары и дирхемы.

Омар говорил, и слова его, сказанные негромко, достигали ушей визиря, и слушал тот Хакима без всякого напряжения...

— Твое превосходительство, есть своего рода поэзия и в математике, скажем, алгебре и алмугабале. В чистой геометрии тоже. Архимед и Евклид оставили нам прекрасные образцы этой математической поэзии.

Визирь попробовал миндаля в уксусе. Он с любопытством разглядывал своего собеседника, который был моложе его чуть ли не на тридцать лет... Много ума... Уйма энергии... Вера в науку... Не такие ли одержимые творят чудеса на поле брани, в делах государственных, в науке и поэзии?.. Он полюбил этого Омара по прозвищу Хайям еще при встрече с ним в городе Самарканде и переманил ко двору его величества Малик-шаха. Здесь, в Исфахане, главный визирь убеждается в том, что выбор его не был ошибочным.

Омар продолжал:

— Я хочу решить этот постулат. Его нужно и можно доказать.

— Да? — удивился визирь.

— Да, да! — воскликнул воодушевленный вниманием визиря Омар Хайям. — Я думал обо всем этом еще там, в Нишапуре. Потом в Бухаре. Потом в Самарканде. Я разговаривал с великими учеными. Я читал трактаты математиков и философов. Я видел во сне только параллельные линии. Я думаю сейчас, что они не столь уж просты, как кажутся на первый взгляд, и что решение задачи о параллельных линиях обещает нечто большее, чем решение просто одной задачи!

— Похвально, — заметил визирь, — похвально, что столь необычные вещи тревожат твой ум. Но я вижу, что ты почти не ешь и мало пьешь. Разве такое поведение

гостя не огорчит хозяина, кто бы он ни был: султан, туранский хакан, ученый или владеющий краюхой хлеба дервиш? Учти: это вино только ради тебя. Это нарушение моего правила...

Визирь поднял фиал так, чтобы полный диск луны оказался над ним, словно выходящий из него. Его светлость сказал, не спуская глаз с фиала и с лунного диска:

— Что бы хотел его величество?.. Чего он ждет от тебя и от твоих помощников?.. Определения и уточнения положения светил на небесной сфере? Да, конечно. Уточнения круговращения Земли, о котором, кажется, говорил ученый Бируни? Да, конечно. Определения погоды наперед по расположению светил? Да, конечно. Более точных астрологических гороскопов? Именно! Главным образом этого... Что ты скажешь? Тебе не кажется, что придворный астролог немного отстранился от своих прямых обязанностей? Я бы не желал, чтобы такое замечание исходило от его величества...

Говоря это, главный визирь выпил фиал до дна и вытер салфеткой губы, бороду и усы.

Хаким молчал. Он оперся руками о колени поджатых ног и не торопился с ответом. Более того, он пытался получше уяснить себе смысл всех слов, которые были сказаны визирем.

А луна между тем уплывала все вправо, все вправо. Она то скрывалась за алебастровой решеткой, то появлялась вновь, и тогда становилось светло, как от ста бедуинских костров, разложенных в пустыне.

Омар эбнэ Ибрахим долго думал, прежде чем ответить его светлости. Он вообразил себе, что рядом с ним сидят его молодые друзья — математики и астрономы Абдрахман Хазини, Абу-л-Аббас Лоукари, Абу-Хатам Музафари Исфизари, Меймуни Васети. И противника своего дней ранней молодости в Нишапури и дней нынеш-

них — Газали тоже вообразил сидящим напротив себя, рядом с его светлостью. Что бы сказали они, если бы узнали об ответе Омара, который услышит сейчас главный визирь?

— Если бы я был счастливым Аладдином из одной арабской сказки, — сказал тихо Омар, — и если бы сумел добыть еще столько динаров, сколько надо обсерватории, я бы ответил так: я займусь более важным делом, чем астрология...

— Чем же, Омар?

— Истинной наукой.

Хайям был освещен луной до возможного предела, и главный визирь не только хорошо слышал слова ученого, но и прекрасно видел выражение его глаз. А глаза, как говорят мудрецы, душа человека. Главный визирь сказал очень твердо:

— Я этих слов не слышал от главного астролога его величества...



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О МОЛОДОМ СТИХОТВОРЦЕ
ИЗ БАЛХА И О ТОМ,
ЧТО УСЛЫШАЛ ОН ИЗ УСТ
ОМАРА ХАЙЯМА

Хаким обедал в своей комнате, которая при обсерватории, служитель по имени Али, очень умный, не хотел тревожить хакаима. Но молодой человек, назвавшийся поэтом из города Балха, настаивал на немедленной встрече. Он сказал, что для этого проделал путь в сотни фарсангов и не сойдет с места, пока не увидит великого поэта.

Али спросил его, чтобы не было недоразумения, о каком великом поэте идет речь. Ибо в обсерватории, насколько ему известно, имеются великие ученые мужи, а вот о великом поэте он не слыхивал. Неизвестно, говорил ли Али это искренне или чтобы отвести молодого человека из Балха от обсерватории, где должно быть тихо, где должно быть покойно, чтобы зрела ученая мысль в полную силу.

Молодой человек был весьма настойчив. Его загорелое лицо свидетельствовало о том, что долгое время провел он под палящими лучами солнца. И, наверное, не врал, что из далекого Балха, что шел с караваном, что повидал свет и изведal лихо. И что песок был у него на зубах и пыль застилала глаза. И что часто днем делалось темно, как ночью. И дышать становилось трудно, потому что песок хлестко бьет по щекам, по рукам, по всему живому на этом пути. В такие часы верблюды, об-

ученные умелыми погонщиками, ложатся на песок, а люди прилипают к их бокам. И тогда верблюды и люди одно целое. И это есть спасение от беды.

Молодой человек показывал руки, которые обожжены, на которых словно бы следы укулов и укусов. И следы ожогов. На самом деле не укулы и не укусы, а от горячего воздуха, песка и мелких камней. А когда кончается буря, будто наступает рассвет: черная пелена медленно опускается на землю, сквозь нее все явственнее проглядывает солнце, и наконец оно снова начинает жечь все живое, и вскоре земля — как раскаленная сковорода.

— Надо все это испытать самому, чтобы лучше понять, что есть жизнь и что есть смерть, — говорил молодой человек. — Я первый раз отправился в такое далекое путешествие. И то с отцом, который не хотел брать меня с собою, говоря: «Зачем тебе подвергать себя опасности? Поживи в городе, пока не окрепнешь вполне и не сделаешься подлинным мужем». А мне хотелось! Мне не терпелось увидеть великого поэта, послушать его стихи.

Али спросил:

— И ты проделал такой путь только ради этого?

— Да! — пылко ответил молодой человек.

— Чтобы выслушать два-три стишка?

— Нет. Чтобы поговорить с его превосходительством Омаром Хайямом.

Али мрачно поправил:

— Здесь нет его превосходительства. Здесь работает хакам, который выше его превосходительства. Ты меня понял?

— Пусть будет по-твоему. Однако я должен видеть его!

Этот молодой человек из далекого Балха был настойчив свыше всякой меры. В его глазах, воспаленных на солнце и ветру, изъеденных пылью пустыни, обрاملен-

ных выцветшими ресницами, горел неукротимый огонь. И Али понял, что отделаться от него невозможно. Это из тех, о ком говорят: «Выгони в дверь — влезет в окно». Несмотря на длительное путешествие, молодой человек был одет чисто, даже можно сказать, изысканно. Его каба свидетельствовала о достатке, а чувяки были расшиты серебром.

— Твой отец погонщик? — недоверчиво спросил Али.

— Погонщик двадцати верблюдов, — ответил молодой человек гордо. — Мой отец не очень беден и не очень богат. Все, что имеет, отдает своим детям.

— А много вас?

— Четверо, — последовал ответ. — И все четверо — мужчины.

Али почему-то обрадовался:

— О, храни вас аллах! Твой отец будет счастлив, если все его сыновья столь же настойчивы, как ты!

Он велел подождать во дворе, а сам направился к Хакиму.

Омар Хайям сидел один на ковре. Перед ним стояла тарелка с жареными фисташками: их хорошо грызть, когда приходится думать. Думаешь и грызешь, думаешь и грызешь.

— О многоуважаемый хаким, — сказал Али, входя в комнату, и покорно приложил правую руку к сердцу.

Хаким посмотрел в его сторону, но мысли его были далеко. Зная это, Али еще раз обратился к Омару Хайяму, пытаясь привлечь к себе его внимание.

— Слушаю, слушаю, — произнес хаким.

Али подумал, что эти слова обращены не к нему, а к кому-то другому. Он сказал:

— Тебя хочет видеть некий поэт из Балха...

— Что?

Али повторил.

— Поэт? — недоверчиво спросил хаким.

— Да, поэт.
— Так отошли его, Али, в караван-сарай. Он, верно, перепутал обсерваторию со странноприимным домом.
И взял пригоршню фисташек.
— Нет, — сказал Али.
Хаким удивился.
— Что нет? Разве я не ясно выразился?
— О многоуважаемый хаким, да пребудут с тобою все радости земли...
— Я не люблю витиеватую речь, — заметил хаким.
— Что?
— Речь, говорю, не люблю витиеватую! Изъясняйся по-человечески. Ведь ты же не муфтий! *
Али перешел на скороговорку:
— Этот молодой человек пришел из Балха.
— Много шляется народу по свету, — проговорил хаким.
— Он шел с одной целью...
— С какой же?
— Только с одной. Повидать тебя, о хаким!
— Зачем?
— Я же сказал — он поэт.
— Уж лучше бы ты привел немудрящего звездочета. Зачем нам поэт? Особенно мне?
Али твердо стоял на своем. Казалось, настойчивость поэта из Балха перешла к нему.
Али сказал:
— Он шел по опаленной солнцем земле, на зубах его песок пустыни, и в глазах его пыль пустыни. Один из погонщиков — отец этого поэта. Отец ничего не жалеет для сына. Он одел и обул его так, чтобы не оскорбить твоих глаз...

* Муфтий — ученый, богослов имеющий право выносить решения по отдельным вопросам шариата — священного права мусульман.

— Мои глаза ко всему привыкли, Али.

— Он пил вонючую воду и ел гнилую пищу. Гиены пустыни чуть не сожрали его...

— Это преувеличение, Али.

— Он шел к тебе, и смерть витала над ним...

— А другие, которые шли вместе с караваном, разве бессмертны? И очень глупо рисковать жизнью ради стихов, без которых вполне можно прожить.

— Однако, хаким, ты же не можешь без них!

— Без стихов?

— Да! — дерзко воскликнул Али.

Омар Хайям перемешивал указательным пальцем фиш-ташки. Долго он это делал. Долго и молча.

— Может быть, молодой человек желает узнать что-либо о светилах? — наконец проговорил он.

— Нет. Он только поэт.

Хаким все думал.

— Может, показать ему обсерваторию?

— Нет, он желает говорить только о стихах.

— Какой чудак! — сказал хаким. — Зови его. — «Ради стихов? — подумал хаким. — Ради стихов столько мучений на долгом пути? Какое это будет неисчислимое бедствие, если в один прекрасный день большинство человечества обратится в неистовых поэтов!»

И он встал навстречу гостю, пришедшему издалека. Молодой человек бросился к хакиму и с жаром поцеловал ему руку.

Омар Хайям усадил его, а служитель Али принес кувшин шербета и кувшин вина.

— Я недостойн этого! — воскликнул молодой человек, порываясь встать. — Я не могу сидеть у правого плеча великого поэта!

— Сиди, сиди, — сказал хаким, удерживая поэта. — Мы сейчас разберемся во всем, и, ежели обнаружим здесь великого поэта, все будет по-твоему.

Молодой человек восхищенно глядел на хакима: ему не верилось, что он рядом, совсем рядом и что они дышат одним воздухом.

Хаким справился об имени поэта из Балха, и тот назвал себя: имя — Рустам, а по отцу — Зирак.

— Рустам эбнэ Зирак? — спросил Омар Хайям.

— Да, господин, именно так.

Хаким внимательно оглядел молодого человека и сказал:

— Мне кажется, что ты сошел со славных страниц великого Фирдоуси.

— Почему так кажется, господин? — смущенно произнес Рустам.

— А по всему... И рост, и молодость... И это имя твое... Что привело тебя сюда?

— Мы шли долгим и трудным путем, — сказал Рустам. — Глаза наши очень часто ничего не видели сквозь завесу желтой пыли, ветер срывал с головы шапки и уносил далеко. Однажды нам казалось, что буря живо погребет весь караван. Это было между Балхом и Нишапуром. Отец сказал мне тогда: «Вот до чего довели тебя стихи».

— Стихи? — удивился Омар Хайям. — А при чем стихи, когда бушует буря? Или, может, я чего-то не улавливаю?

Молодой человек из Балха что-то хотел объяснить и вроде бы не мог.

— Стихи сочиняются в свободное время, — сказал хаким. — Но когда бушует буря, надо думать и бороться, а не стихи сочинять.

— О господин мой, ты не так меня понял, — сказал Рустам вдруг на арабском языке.

Хаким поднял руку:

— Не утруждай себя, Рустам, я прекрасно понимаю и свой родной. Говори по-нашему...

— Господин мой, дело в том, что я поэт и приехал сюда, в Исфахан, только чтобы повидать тебя и поговорить с тобой.

— О чем же?

— О стихах... О высокой поэзии.

— Ты, конечно, шутишь, Рустам. — Хаким взял многократно сложенный лист самаркандской бумаги и развернул. Он оказался картой, на которой изображены моря и реки, города и высокие горы великого царства.

Хаким указал на город Балх, а потом перевел взгляд на город Исфахан и в него тоже ткнул пальцем.

— Ты видишь? — спросил он. — Какое это расстояние? Сколько сот фарсангов, а?

— Много, — ответил Рустам.

— На караванной дороге встречаются не только оазисы, Рустам. Она полна ловушек: болезней, зверей, разбойников. Песок тоже убивает человека. Очень часто. Если купцы рискуют жизнью, они знают, что это стоит барыша, который сулит им опасное путешествие. А ты почему рисковал?

— Хотя бы для того, чтобы посмотреть свет, — сказал Рустам и покраснел.

Хайям отпил вина.

— Это хорошо! — сказал он. — Твой ответ мне нравится. Ради этого можно и рискнуть. То, что увидел глазами и пережил сердцем, стоит очень многого. Не так ли?

— Да, и я так думаю.

— И ты решил ради стихов посмотреть свет?

— Не совсем так, мой господин. Я решил поговорить с тобой.

— О стихах?

— Да.

— Почему именно со мной? Разве мало поэтов в Балхе?

Рустам отпил шербета и сказал, не скрывая своего удивления:

— Поэты в Балхе? Они есть, но разве кто-нибудь из них сравнится с тобой?

— При чем тут я? — раздраженно бросил Омар Хайям.

Рустам растерялся. Ему показалось, что этот Омар Хайям вовсе не тот Омар Хайям, к которому шел через опасные пустыни. Но ведь ошибки быть не может! Омар эбнэ Ибрахим? Омар Хайям — поэт? Омар Хайям — надим * — постоянный собеседник его величества? Омар Хайям, работающий в обсерватории? В самом Исфохане? Или здесь две обсерватории и в обеих работают Омары Хайямы?

«Наверное, мне следует встать и уйти, — подумал Рустам. — Если я попал не к тому Омару Хайяму — величайшему поэту, — то, разумеется, следует как можно скорее покинуть обсерваторию и не морочить голову уважаемому хакиму...»

Рустам вскочил на ноги. Он вскочил так, будто собирался бежать, бежать без оглядки. Глаза его были расширены, пальцы на руках оттопырены, и необычная бледность на лице...

— Я прошел многие сотни фарсангов... — сказал он, запинаясь. — Я уже говорил, что на зубах моих был песок, а глаза слипались от желтой пыли. Скажи мне, о каком, неужели я ошибся адресом?

— Кого ты искал, Рустам?

— Омара Хайяма.

— Он здесь, перед тобой.

— Но мне нужен поэт...

— Зачем?

— Чтобы поучиться у него мудрости...

* Надим — образованный приближенный султана, шаха.

— У поэта Омара Хайяма?

— Да, у него.

Рустам сложил руки на груди и насутился. И немного погодя, прочитал стихи. Нараспев. Выделяя рифмы, подчеркивая смысл их особым произношением важных, по его мнению, слов. Смысл стихов был точен, не допускал двух толкований. Это были стихи-четверостишия о том, как течет по земле, красивой земле, ручей. Он блестит, сверкает всеми цветами радуги, и звуки его чарующи. Но вот впереди расселина, и ручей пропадает, исчезает, словно его и не было на этом свете. Вот и все!

Хаким слушал, опустив голову. И, не подымая ее, спросил молодого поэта:

— Ну и что?

Молодой поэт прочитал еще одно четверостишие. В нем говорилось о кувшине, простом кувшине из глины. Что, казалось бы, в этом особенного? Но вот поэт, написавший эти рубаи, увидел в нем, в простом кувшине, нечто, а именно: ручки у кувшина — это руки красавицы, а сам кувшин — из сердца ее. Иными словами, красавица после смерти превратилась в прах, а из того праха гончар смастерил кувшин.

Прочитав рубаи с большим подъемом, поэт из Балха ждал, что же скажет этот непонятный Омар Хайям в образе Хакима.

А хаким неожиданно встал, взял за плечи молодого человека и повел его наверх, на крышу обсерватории. Они подымались по крутой винтообразной лестнице, освещенной светом, который лился из небольших стрельчатых окон.

Они ступили на крышу словно бы в новый мир: во круг, насколько хватал глаз, простирался огромный город. Над множеством домов колыхались неверные столбы дыма, откуда-то из-за реки доносились голоса уличных торговцев и переливчатые звуки верблюжьих колоколей-

чиков. Река Заендерунд — благодетельница крестьян — шумела на перекатах, и ее блеклый изумрудный цвет по-особенному сверкал на солнце Исфахана.

А вверху бездонный и бескрайний шатер неба. Он густого бирюзового цвета и, похоже, твердый, как эмаль. И даже жаркое солнце не способно лишить его яркости, голубизны.

После прохлады и полусумеречного освещения на крыше оказалось нестерпимо жарко и ослепительно бело. И весь мир оказался таким необозримым и таким поразительным, что едва ли хватило бы слов у молодого поэта, чтобы выразить всю его красоту...

Хаким подвел гостя к большой шаровидной астролябии. Снял с нее чехол, и астролябия вспыхнула подобно солнцу — до такой степени была она начищена. Яркая желтая медь слепила глаза.

— Я и мои товарищи, — начал хаким, — каждую ночь проводим здесь по нескольку часов. И наш глаз направлен в самую глубину небесной сферы. Мы следим за плывущими созвездиями, мы шагаем по Млечному Пути, мы наблюдаем Луну. И потом снова возвращаемся на нашу Землю и снова окунаемся в различные работы и дела. Учти, Рустам, мы это делаем каждую ночь. Ты меня понял?

— Нет, — чистосердечно признался пылкий Рустам.

Хаким немножко удивился. Однако ему пришлось по душе ответ поэта из Балха. Нет ничего хуже, когда тебя не поняли, а в угоду тебе говорят «да». Хаким сказал про себя, что надо бы объяснять более вразумительно таким молодым людям, как Рустам, ибо у них сомнение преобладает над действительными знаниями. Наверное, это недостаток молодости, наверное, и сам он, хаким, таким же был в молодости...

— Я понял вот что, — сказал Рустам, — что ты, досточтимый хаким, что ты и твои друзья работаете очень

много. И часто — не смыкая по ночам глаз. Но какое это имеет отношение к поэзии?

— Прямое, — жестко произнес хаким.

Рустам, очевидно, не совсем улавливал эту связь: непонимание было написано на лице его слишком явно.

— Молодой человек, — сказал хаким, — я каждую ночь наблюдаю ход небесных светил. И прихожу к одному выводу: сколь необъятен мир, сколь он широк и высок. И подчас я кажусь себе песчинкой, безмозглым дитятей перед величием небесной сферы и всем тем, что сотворено руками аллаха — всевышнего и милосердного. Я замираю в те минуты и часы, я делаюсь как бы другим человеком, который с трудом представляет себе все величие вселенной. И в самом деле, что мы перед нею? Безграничность вселенной, ее извечное существование заставляют меня задуматься о самом себе и смысле моей жизни, а также о жизни моих друзей и врагов...

Рустам стоял перед Хакимом, слушал внимательно его речи и гадал: «Тот ли это Омар Хайям или не тот? Этот ли написал чудесные рубаи, дошедшие до Балха, или другой, которого еще предстоит разыскать?» Рустам гадал, и сомнениям его, казалось, не будет конца...

— Я говорил сейчас о небесной сфере, — продолжал хаким, — но ведь то же самое можно и должно сказать обо всех науках... Например, читал ли ты великого Ибн Сину?

— Я знаю его стихи, — сказал Рустам.

— А его философские и медицинские книги?

— Нет, не читал.

— А что ты знаешь о господине Бируни?

— Бируни? — спросил Рустам. — Это поэт?

— Нет, великий астроном.

Молодой человек из Балха покраснел.

— Рустам, я назвал всего два имени — два великих светила человеческого разума. А ты их не знаешь... К че-

му я веду речь? К тому, чтобы привлечь твое внимание к более серьезным вещам, нежели двустушия и четверостишия. Ты понял меня?

Рустам кивнул.

— Это уже хорошо, Рустам. Что такое поэт?

Рустам ждал, что хаким сам объяснит.

— Я спрашиваю: что такое поэт?

Рустам неуверенно начал:

— Человек, слагающий стихи...

— Неверно! — хаким чуть не вскрикнул при этом. Казалось, он произнес это слово не только для Рустама, но и для всего Исфахана. — У нас, в Исфахане, слагающих стихи больше, чем полагается. Каждый считает себя вправе поболтать пару раз стихами. На досуге, после плотного обеда, немало любителей почитать собственные стихи. Но я говорю не о них! Я говорю о настоящих поэтах. Ты меня понял?

Рустам кивнул еще раз.

— Прекрасно! — воодушевился хаким. — Это мне уже нравится. Я люблю, когда начинают понимать простые вещи. Это не так уж легко, как кажется. А тебе, Рустам, мой молодой друг, пора понять еще одну истину: поэт — это прежде всего мудрец. Поэт — прежде всего человек опытный в делах житейских и науке. Поэт — человек дела, и, будучи таковым, он слагает стихи не ради собственного удовольствия, а в поучение людям. Поэт пишет стихи — поэт учит людей. Не прямо, а косвенно. Не как имам*, разбирающийся с чужих слов главы корана, а как мудрец, сам постигающий тайны мироздания и увлекающий других за собой. Молодость хороша. Но хороша она по одной причине: молодость может выбирать дорогу, она вся перед нею. Но прежде всего надо набраться ума и знаний. Это в первую очередь относится

* Имам — мусульманский священнослужитель.

к поэту. Вот почему я показал тебе эту крышу и этот замысловатый прибор, именуемый астролябией. Тебе это ясно?

И Рустам почтительно произнес:

— О хаким, разреши задать тебе вопрос?

— Задай.

— Тот ли ты поэт, которого я ищу, или не тот?

— Я не знаю, кого ты ищешь.

— Омара Хайяма.

— Да, я и есть Омар Хайям. — Хаким подошел к астролябии и повернул алидаду кверху, просто так, в глубоком раздумье. После недолгого молчания сказал: — Но я должен разочаровать тебя: я астроном и математик.

— А стихи? — с отчаянием спросил Рустам. — Стихи, которые я читал? Разве они не твои?

Хаким ответил уклончиво:

— Что ж с того?

— Значит, ты и есть великий поэт?! — воскликнул молодой человек.

Хаким обнял Рустама, заглянул ему в глаза, такие доверчивые, и сказал:

— Рустам, если ты хочешь быть поэтом, послушайся меня: учись наукам, особенно математике и философии. Без них поэт не поэт.

— Ну а ты, а ты? — нетерпеливо вопрошал Рустам. — Разве ты не тот, кого я ищу?

И на этот раз уклонился хаким от прямого ответа.

— Поэта судит только время, — сказал он. — Только оно присваивает ему это великое имя. Только время покажет, кто поэт, а кто простой стихоплет.



10

ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О МЕДЖНУНЕ, КОТОРЫЙ В КРУГУ
СВОИХ ДРУЗЕЙ

Али эбнэ Хасан у самой границы пустыни. Дом его стоит на зеленой полянке, питаемой прохладной Заендерунда, а через десять шагов отсюда начинается желтый песок. На таком песке ничего не растет. И это понятно! попробуй посеять что-нибудь на подогретой жаровне!

Высокая глиняная стена прочно отгораживает двор Али от прочего мира. Узкая и низенькая железная дверь ведет к дому. Дом не очень плохой и не очень хороший: обычное жилище купца с достатком ниже среднего.

Однако сам Али эбнэ Хасан не простой купец, все помыслы которого направлены на приумножение богатства. Так мог бы утверждать только тот, кто вовсе не знает Али или же судит о человеке по случайной и кратковременной встрече с ним.

Али под пятьдесят. Высок и жилист. Такой чернявый, с пронизывающим собеседника насквозь взглядом. Родился он в Ширазе, постоянно живет в Исфахане, где у него две лавки: недалеко от мечети и на базаре. Есть лавка и в Ширазе. Али торгует изделиями из серебра и коврами. Покупает ковры Али у кочевников на юге, за Ширазом. Но поскольку умен не только Али, у него много соперников в этом торговом деле.

Три жены у Али эбнэ Хасана, Аллах послал ему восемь детей. Из них только трое наследники. Остальные —

красивые девочки, похожие на красивых матерей... Али эбнэ Хасан превыше всего ставил женскую красоту и добродетель, и судьба послала ему жен по сердцу и вкусу его.

Под холодной купеческой наружностью Али таилась душа политика. Да, да, политика, человека, для которого хлеб сам по себе значит еще не все. Политика его была связана с религией. Поскольку никто не призывал его к активной деятельности — государственной, разумеется, — он сам нашел поле для такой деятельности.

Да будет известно вам, что Али эбнэ Хасан был шиит *, то есть принадлежал к религиозной секте шиитов, которая родилась, как говорят, где-то в Аравии, а может, еще дальше. А когда именно родилась — мало кто помнит. У слабого, говорят, большая амбиция. У слабого, говорят, больше самолюбия, и слабый, говорят, обидчив и честолюбив сверх всякой меры. Скажем прямо: Али эбнэ Хасан был именно таков. Он сердился на себя и на весь мир оттого, что мало что значит в этой великой стране и ум его и религия остаются как бы за бортом плывущего государственного корабля.

У него были друзья и единомышленники. А у кого их нет? Но Али эбнэ Хасан выбирал друзей самолично и допускал их к себе только после долгого и изнурительного испытания. Если бы его величество знал, что творится в доме этого купца, он прислал бы своих воинов, и те в мгновение ока стерли бы с лица земли и высокие глиняные стены, и дом, который среди них. И поляну выжгли бы огнем, и пепел шевелился бы на земле — серый, мертво-бледный. То же самое стряслось бы, если бы сообщили обо всем этом главному визирю.

Однако, справедливости ради, следует сказать, что Али эбнэ Хасан не был самым ярым из шиитов. Нахо-

* Шиизм — одно из главных направлений в мусульманской религии.

дились куда более горячие головы. Например, Хусейн-меджнун. Они, как голодные азиатские тигры, жаждали крови, насилия. Кровь при этом имела в виду чужая, насилие — над другими, над этими проклятыми суннитами*, которые букву священного корана ставили выше мысли о справедливости. Слушая речи тех, кто посещал дом Али эбнэ Хасана, сведущие люди сказали бы, что немало среди них и неких исмаилитов**, которые во сто крат злее обыкновенных шиитов.

Этот Хусейн, будучи бешеным меджнуном, был также и шиитом бешеным. Иными словами, одним из тех исмаилитов, которые считали, что только реки крови могут избавить правоверных от пут, коими опутали их власть имущие сунниты, позабывшие или умышленно искажавшие истинный смысл священной книги. Хусейн не скрывал от своих друзей, что давно точит нож и пустит его в ход, как только представится подходящий случай.

Вот и сейчас, с закатом солнца, он явился сюда по проторенной дороге, и Али эбнэ Хасан и его гости сразу почувствовали, что Хусейн до крайности раздражен.

— Я убью его, — сказал Хусейн, как только переступил порог дома. Хозяин и гости вовсе не удивились этому: они были согласны, что кого-то следует убить. Но кого?

Али восседал в углу на пестрой подушке. Гости, поджав ноги, занимали места по левую его руку.

Зеленщик Джафар жевал кусок тонкого хлеба и мрачно посапывал. Он был толст. Он был не очень опрятен, и пот лил по упругим его щекам. Он прищурил глаза и сказал, что знает, кого следует убить. Если угодно, напишет имя негодяя на бумаге, и тогда можно будет проверить — ошибся или точно угадал. Его друг по имени Бакр — мясник, специалист по потрохам — весьма заин-

* Суннизм — основное, ортодоксальное направление ислама.

** Исмаилиты — члены секты, выделившейся из шиитов.

тересовался заявлением Хусейна. Да, разумеется, надо убивать, и к тому же незамедлительно.

Зейналабедин-ассенизатор и старый Али-пекарь — люди степенные и зрелые. Они прежде подумают, а потом уж скажут, что следует делать: убивать или миловать. Зейналабедин эбнэ Хусейн, собственно, не был ассенизатором в прямом смысле этого слова. Он возглавлял славный цех неких оборванцев, спавших днем и приводивших в порядок отхожие места по ночам. Это был уважаемый человек, и под началом его орудовала скорее банда разбойников, нежели ассенизаторов. Если бы главный визирь догадывался, кто это шарит по ночам в непотребных углах, наверняка постарался бы поприспальнее приглядеться к исфаханским золотарям...

— Кого же ты решил убить, Хусейн? — спросил Али эбнэ Хасан. Он говорил шепеляво, но довольно четко, старательно выговаривая слова.

— Сам знаю кого, — глухо произнес Хусейн.

— Этого еще мало, — заметил хозяин.

— Да, это так, — подтвердил Али-ассенизатор.

Четверо мужчин, перед которыми стояли глиняные сосуды с водой и шербетом и, кажется, с вином, а также глиняные блюда с хлебом и жареным мясом, перестали жевать и пытливо разглядывали Хусейна. Тот скинул с себя верхнюю одежду, бросил на нее свой кинжал и опустился на пол. Он был очень зол.

— Кто знаком с Хакимом по имени Омар? — спросил Хусейн.

Мужчины задумались.

— Омаром эбнэ Ибрахимом... Звездочетом и мошенником.

— Мошенником? — протянул хозяин.

— Да, с мошенником!

Али эбнэ Хасан кивнул. Да, он знаком с человеком, который носит такое имя. Да, этот Омар к тому же и

астролог, а может быть, и надим. Но мошенник ли? О каком это Омаре ведет речь Хусейн?

Хусейн оторвал кусок лаваша, разорвал его на мелкие кусочки и набил ими рот. Запросто. Как на базаре. В голодный день.

— Если должность надима есть верный щит от всяческих грязных дел, — сказал Хусейн, — то мне не о чем говорить...

— Почему же, сын мой? Говори...

— Я полагал, что меня поймут с полуслова...

— Возможно, и поймут. Разве это исключено? — успокоил молодого меджуна хозяин, умудренный опытом и знанием наук. — Но надо хорошо подумать, прежде чем награждать человека таким емким словечком, как «мошенник». Ведь, как ни говори, понятие это растяжимо: есть мошенник на базаре, есть в науке, встречается он и во дворцах. Если угодно, и в мечетях. Разве все эти мошенники равнозначные? Один надувает на ломаный грош, а другой обкрадывает целое государство. Кого же ты имеешь в виду?

Хусейн обескуражен, но поглядел на окружающих, словно бодливый телок, и произнес загробным голосом:

— Я имею в виду всякого, кто пользуется деньгами для того, чтобы совращать людей.

— Каких людей, Хусейн?

— Обыкновенных.

— А все-таки? Нельзя ли поточнее?

— Можно и поточней, — Хусейн лягнул зубами. Они были крепкие, и оттого звук получился устрашающий. — Я спрашиваю: имеет ли человек право красть чужую любовь? Красть только потому, что мощна потолще твоей? И называть себя при этом правоверным?

— Это кто же правоверный? — спросил хозяин. — Не этот ли Омар Хайям?

— Он самый!

Потом наступила тишина. Трудно было вмешиваться в этот разговор третьему, а сам Али эбнэ Хасан не торопился продолжать свои речи. Он казался утомленным, голова его была занята более важным делом, чем история о какой-то любви...

— Я его убью, — пригрозил Хусейн. И он намотал на пальцы длинный стебель зеленого лука, положил его в рот и захрустел.

— Убьешь? — безучастно спросил Али эбнэ Хасан.

— Да... Потом Эльпи будет снова моею. — Хусейн разодрал пирахан на своей груди и воскликнул: — Я же люблю ее!

И оглядел всех, ища у каждого сочувствия.

Хозяин усмехнулся. Он сказал:

— Во-первых, любовь не добывают кровью. Во-вторых, хаким, которого ты называешь своим врагом, не самый главный враг. Это так.

Али-пекарь закивал головой.

— Ты просто не знаешь коварства этого звездочета, — сказал Хусейн. — Я совершенно уверен в одном: он самый главный враг, и я приведу свою угрозу в исполнение.

Али эбнэ Хасан поднял руку. Он нахмурил брови. И сказал:

— Не о том говоришь, Хусейн, и не туда направлены твои мысли. Женщин на свете — что песчинок на берегу моря. И ты найдешь себе другую. Как, впрочем, и сам хаким. Я не вижу причины для вражды из-за какой-то потаскушки.

— Она не потаскушка, — возразил Хусейн. — Она несчастная жертва мужского прелюбодеяния.

Хозяин усмехнулся. Али-пекарь засмеялся громче. Другие подобным же образом выразили свое отношение к словам Али эбнэ Хасана.

Однако гроза продолжала бушевать в груди молодого

Хусейна. Что понимают в любви мужчины, погрязшие в политических интригах, ненавидящие султана и его визирей? Этим подавай только власть, а любовь для них — нечто вроде полевого цветочка, который не жаль раздавить.

Али эбнэ Хасан погрозил пальцем Хусейну. Он приказал замолчать и не раскрывать рта, если говорить тому больше не о чем. Здесь, в этом доме, где все подчинено великой цели, разговор о любви к какой-то женщине — просто кощунство. Тем более ревность к хакому. Хахим Омар Хайям не самый главный враг шиитов. Даже наоборот: для него что шиит, что суннит — одно и то же. Он равнодушен и к тем, и к другим. Есть одна великая цель — это султанский престол, который должен быть уничтожен, а все прочее — мелочь, недостойная мужского внимания...

— Да? — иронически спросил Хусейн.

— Да! — грозно ответил Али эбнэ Хасан.

— А если на тебя наплевали?

— Терпи.

— А если наплевали на нее?

— Пусть терпит и она.

Хусейн ударил себя ладонями по коленям:

— Ну а жизнь, которой нет без любви? Неужели все следует приносить в жертву... как бы это выразить?..

— Не утруждай себя, — прервал его Али эбнэ Хасан, повышая голос. — Слушай, я хочу повернуть твою голову только в одну сторону. Было бы глупо, если бы мы с тобой занялись чем-либо таким, что недостойно нашей цели. Любовь, эта чепуха, придет потом. И не один раз. Я понимаю твое негодование. Сумасшедший меджнун всегда ревнует. Он почти слепец... Ты меня понял?

А чего тут не понимать? Разве эти высохшие рыбы сохранили в себе душу? Душу, которая знает, что есть любовь? Этот Али эбнэ Хасан вполне доволен своими тремя женами. Али-пекарь изошел потом у печи —

ему ли до любви? Зейналабедин-ассенизатор что смыслит в сложных любовных делах? А Бакр тем и занят день-деньской, что потрошит туши да точит ножи. У него ли спрашивать, что такое любовь? Он понимает свое — любовь к потрохам! А что же еще? К тому же он испытывает особую нежность к мальчикам. Он ли оценит женскую красоту?

— Ладно, — заключил Хусейн, — я дело свое знаю и сам во всем разберусь.

— Возможно, — примирительно сказал Али эбнэ Хасан, — возможно, ты кое-что и согласишь. Однако прими во внимание одно: у нас с тобой поважнее заботы. А если тебе хочется жениться, мигом тебя оженю. Есть тут у меня на примете соседская дочь. Все при ней! А зад ее может свести с ума хоть кого.

Хусейн соорудил гримасу:

— Как же она его отрастила?

— Сам вырос, — всерьез отвечивал Али эбнэ Хасан. — Зовут ее Рохие. Шиитка, преданная своей вере. Вся семья такая. Спроси Зейналабедин.

Ассенизатор начал божиться, дескать, это не девушка, а сплошная сладость. Достойная девица достойной семьи. А под конец спросил Хусейна:

— А кто она, твоя красавица?

— Моя? — Хусейн вытаращил глаза. — Ты хочешь знать, кто она?

— Да.

— Падшая женщина.

— Падшая? — разинул рот от удивления Зейналабедин.

Хозяин не выдержал:

— Скажи лучше — шлюха.

— Скажу, — со злорадством проговорил Хусейн.

Бакр встал, подошел на цыпочках к Хусейну и приложил ладонь к его лбу. Подержал немного и заключил:

— У него жар.

Хусейн покачал головой, оттолкнул Бакра.

— Я заявляю вам, — сказал он, — я убью его!

— Аллах всемогущий! — взмолился Али эбнэ Хасан. — Что слышат мои уши?! Да ты попросту спятил! Слышишь, Хусейн? Ты сошел с ума!

Меджнун — на то он и меджнун! — ничего не слышал уже. Он что-то шептал горячими губами, и глаза его тоже горели от некоего внутреннего жара.

— Это пройдет, — сказал Бакр и уселся на свое место.

Мужчины продолжали есть и запивать еду вином и холодной водой.



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ТОМ, КАК ОДНА СВЯЩЕННАЯ
ОСОБА ПОСЕТИЛА
ОБСЕРВАТОРИЮ

Великий муфтий, любезный сердцу его величества имам Хусейн аль-Кутейба, муж многоопытный и хитроумный, посетил обсерваторию. Он осуществил свое давнее желание увидеть собственными глазами то, что расхваливали ученые при дворе, и услышать нечто из уст самого Хакима Омара Хайяма. Если рожденный от матери посвящает свой труд изучению беспредельно великих дел и творений аллаха всемилостивого и милосердного, то вполне естественно, что великий муфтий желает узнать об этом ученом как можно больше. Поскольку его величество внимает ухом своим словам господина Хайяма, было бы странно и не совсем понятно, если бы великий муфтий пренебрег возможностью поближе познакомиться с кладезем небесной науки, якобы находящимся совсем неподалеку, за рекой Заендерунд, в пределах обсерватории. Вещи следует видеть такими, какие они есть. Можно отвергать богохульные рубай, приписываемые Хайяму, но нельзя не согласиться с его утверждениями о бесконечной красоте и исключительном величии творения рук аллаха.

Великий служитель и послушатель всевышнего Хусейн аль-Кутейба был умнее, чем полагали некоторые, и простоватость его была лишь напускною. Он хорошо различал, где верблюд и где игольное ушко, и разницу между ними понимал лучше, чем кто бы то ни было во дворце.

Это был человек высокий и худой. Но нельзя было сказать, что высох он, изучая священную книгу, что в молитвах и воздержании проходит вся его жизнь. От рождения был он близорук, и выпуклый, горный хрусталь, что чище стекла, помогал ему лучше различать предметы, несколько удаленные от глаз. Однако злые языки поговаривали, что хрусталь этот скорее способствовал обдумыванию неких замысловатых ответов в необходимых случаях, нежели улучшал зрение, ибо хорошо, когда в руке держишь предмет, отчасти заменяющий четки, эти чересчур мужицкие побрякушки, — можно затянуть время, например протирая хрусталь платком, а тем временем подобрать нужные слова. И этот хрусталь не раз сослужил полезную службу своему обладателю.

Одеяние носил муфтий зеленого цвета — из самой нежной и прочной хорасанской ткани. А тюрбан на голове его, аккуратный, небольшой, был белее снега на самых высоких горах в самый яркий солнечный день.

Поговаривали, что у муфтия три глаза: один на затылке, в добавление к двум, находящимся под бровями. Этим самым недруги его хотели подчеркнуть чрезвычайную осмотрительность священного служителя. Впрочем, трудно было обойтись без третьего глаза тому, кто долго и стойко удерживался близ трона его величества Маликшаха. Или близ левого плеча его превосходительства Низама ал-Мулка. Только один аллах ведает со всей достоверностью и ясностью, сколь неверны жизненные тропы, невидимые простым глазом и переплетающиеся между собою в покоях дворца. Ни одно светило не поможет на этом пути, если нет еще более верного проводника, каким был, есть и пребудет во веки веков аллах вездесущий и милосердный. В этом великий муфтий был совершенно уверен...

Он переступил порог обсерватории с двойственным чувством. С одной стороны, он не мог позволить себе

поддаться искушению и открыто выказать свое презрительное отношение к обсерватории и ее ученым. Это было бы не совсем благоразумно. С другой стороны, не следовало проявлять излишнего интереса ко всей этой болтовне о бесконечном мире, за которым едва угадывается образ аллаха милостивого, милосердного и вседержавного. Здесь следовало избрать ту золотую середину, о которой всегда мечтали многомудрые люди древности. Великий муфтий был достаточно стар — ему недавно минуло семьдесят — для того, чтобы повести беседу так, как полагается человеку его возраста и сана. Он был закален в хитроумных и многотрудных беседах с ортодоксами из Багдада и не в меру строптивыми шиитами из Хорасана. Две поросли одной ветви давали много пищи для размышлений. Но мало этого: беседы эти волей-неволей оттачивали ум, настораживали сердце и укрепляли дух. Триединство ума, сердца и духа как такового приоткрывало завесу, которая на всем — от колыбели до небесной сферы. То есть оно спасало от заблуждений в этом мире и — дай аллах! — в том, другом.

Этот сухой и вечно настороженный человек знал цену себе и каждому из тех, кто жил во дворце или вертелся вокруг него. При этом он умел молчать. В самый горячий час, когда великие страсти бушевали в груди его, он говорил только сотую часть из того, что хранил в себе. Таков закон, суровый и неотвратимый, — если хочешь устоять на ногах в этом подлунном мире, а точнее, в прекрасном и величественном дворце его величества.

И здесь, на виду обсерватории, великий муфтий оставался верен самому главному правилу: в Исфахане веют незримые ветры, и они разносят слово, сказанное даже невзначай. И горе тому, кто позабыл об этом под воздействием горячности своей или невоздержанности в разгаре пира. Каждое слово припечатывается, словно к бумажке, и бумажка та летит в некие покои султана, где тщатель-

но изучается дабиром * или его помощниками, взвешивается на весах справедливости, и тогда сказавший слово получает свое.

Какие мысли приходят в голову, когда глядишь на дворец его величества, на камни его и дерево его, полированное, как стекло? Мысли о величии государства? Да, разумеется. О мощи его и невообразимой обширности? Да, разумеется. Что стоит оно от века и будет стоять во веки веков нерушимо? Да, разумеется. А еще что?

Когда глядишь на окна, каждое из которых стоит одного богатого дома, когда любишься колоннами, каждая из которых есть красота и неистощимое богатство, заложённое в мраморе, когда золоченая кровля сплит глаза и сама по себе есть слава его хозяина, когда гремят трубы дворцовые, возвещая о приезде его величества или отъезде, разве мысль о единстве и сплоченности в этих стенах не есть ли главенствующая мысль? Если не эта, то какая же?

Все это так и есть, когда глядишь со стороны. А когда сам находишься внутри этих стен? Что же ты видишь тогда?

Великий муфтий смотрел на мир из этих стен, из покоев дворца, ибо был надимом его величества. Он слышал от его величества больше других и часто взирал на окружающее глазами его величества. И что же он видел и что понимал?

Все сложно, противоречиво и порою непонятно в этом дворце. Ибо так же сложно, противоречиво и порою неясно вовне его, на бескрайних просторах государства от Средиземного моря до Ганга, от Глевешелана до океана на юге. Возьмем главное, что есть на этом свете, главное, на чем зиждется основа основ этого государства, — величайшую из религий — ислам. Как это ни

* Дабир — делопроизводитель, секретарь при правителе.

горько, но приходится согласиться с теми, которые утверждают, что он раскололся, словно орех. Разве сунниты и шииты не есть единоутробные дети матери-ислама? Да, разумеется. Великий муфтий точно определяет время зарождения ислама, границы его роста и — увы! — раскола. Великий муфтий не верит в магию слова. Раскол содержится в себе семена катастрофы. Но катастрофа не от самого слова как такового, а от самого факта. Зачем ходить далеко? Разве с просторов северного побережья не докатывается до стен Исфахана возмутительная и воинствующая ересь шиитов, которые тоже расколоты, подобно ореху, на многие части?

Да и так ли монолитно само население дворца, как это может показаться непосвященному со стороны? Главный визирь Низам ал-Мулк крепко держит бразды правления государства в руках своих. Он предан исламу, он правоверен до мозга костей и ненавидит всяческую ересь. И он говорит: «Ересь в исламе есть начало ереси в государстве, которая подтачивает стены дворцовые...» Он говорит так, ибо он мудр, и он живет в вере своей, подобно шелковичному червю в коконе. Но червь этот воистину велик умом и духом, и жилище его прекрасно и величественно, ибо оно есть постамент нерушимой веры его...

Великий муфтий, когда перед ним открыли двери обсерватории, оглянулся, чтобы посмотреть на мир, который за спиною, будто прощался с ним. Ему казалось, что входит он в иной мир, и хотелось ему убедиться, что позади него земля и солнце, созданные аллахом от века, и пребывают они в замыслах создателя в своей первобытной чистоте. Поэтому невольно обострялась мысль о скверне, которая здесь, за порогом, за этими дверьми. Но не зная, что делается здесь, не увидеть все собственными глазами было бы трусостью, которая не допускается истинной верой.

Здесь, на пороге обсерватории, невольно спрашиваешь

себя: «А что есть это странное кирпичное здание, в чем сила его и как сопоставить его с великой мечетью и великим дворцом его величества? Что общего меж ними и в чем разница, которая непременно должна быть, ибо каждая вещь имеет свою природу и свое назначение?»

Великий дом аллаха не нуждается ни в каких объяснениях, сущность его светла и ясна. Пока живет душа человека, пока обитает она в потустороннем мире, будет жить и здравствовать великий дом аллаха. Ибо в нем сила и красота человека от сотворения Адама, от скрижалей Моисеевых и великого воинства Мухаммеда.

А дворец?.. Разве не есть он средоточие не только высшей власти, но и высшего лицемерия? Разве визири преданы его величеству так, как они громогласно говорят об этом, как изъявляют свою верноподданность и покорность? И нет ли среди них носителей ереси и духа непокорности, который дует с туранских степей? Если в народе через каждое сердце, бьющееся в нем, проходит трещина, то почему бы этой трещине не быть и во дворце? Разве дворец так уж прочно отгорожен от всего того, что происходит за его стенами? Нет ли тут связующих нитей? Есть, есть! — утверждает великий муфтий. — И не могут не быть! Хотя и сказано в великой Книге: «Он избрал вас и не устроил для вас в религии никакой тяготы...» Хотя и сказано в Книге: «Держитесь за аллаха! Он ваш покровитель. И прекрасен покровитель, и прекрасен помощник!» Неужели же жизнь сильнее Книги?

Великий муфтий при этой мысли испуганно озирается, ибо в нем добрый испуг, испуг доброго мусульманина, который в чем-то хитер, но в чем-то истинный мусульманин — послушатель воли аллаха. Однако у него есть голова, и он обязан смотреть глазами своими и думать своим умом. А иначе беда!..

Взглянув на круглое кирпичное здание, великий муфтий говорит себе: «Да, трещина проходит через многие

сердца и во дворце. Это истина непреложная. Что это так — немало тому доказательств... Вот хотя бы недавний разговор с главным визирем...»

Его превосходительство спросил:

«Так ли чисто стадо, как это кажется?»

Говоря «стадо», он имел в виду стадо аллаха, которому несть числа и которое под дланью его величества.

«Стадо едино, — уклончиво ответил великий муфтий. — А иначе оно называлось бы другим именем. Само имя его свидетельствует о единстве его».

Его превосходительство Низам ал-Мулк видит дальше и слышит громче, чем это может показаться наивному.

«Нет силы сильнее аллаха, нет длани сильнее его длани, а мы — пыль на его стопах. — Так сказал главный визирь. Был час дневного отдыха, и он пил вместе с великим муфтием холодную воду. — И стадо свое бережет аллах. Это есть истина истин... Но так ли едино это стадо и не нужен ли за ним глаз да глаз?»

Великий муфтий не стал кривить душой. Он знал чистоту помыслов главного визиря, жизнь которого была в угоду аллаха. И сказал великий муфтий одно небольшое слово:

«Нужен».

Главный визирь отставил чашу с водою и спросил:

«Значит, стадо не едино?»

«Я этого не говорил...»

«Тогда зачем глаз?»

«О, твоё превосходительство, разве это помешает? Сказано в Книге: «А если они с тобой препираются, то скажи: «Аллах лучше знает то, что вы делаете!» Из этих слов ты можешь заключить, что даже сам аллах допускал препирательства в стаде своем».

Низам ал-Мулк погладил бороду в глубокой задумчивости и проговорил, как бы находясь наедине с самим собою:

«Не туда идет стадо, и бич пастуха заметно ослабел...»
«Это не так», — возразил муфтий.

На что визирь ответил:

«Истинно так! Я предвижу многие сложности. И меня беспокоят молодые люди, в головах которых ветер. Им нет дела до святых слов и святой Книги, они преисполнены жажды власти, и дело у них, к сожалению, идет вслед за словами».

«Что ты говоришь?!» — воскликнул вдруг перепугавшийся муфтий.

«То, что слышал. И я говорю это обдуманно и только для тебя. Его величество скоро все узнает. Он уже кое о чем осведомлен. Мы укажем ему на болезнь, подскажем, какое существует от нее лекарство. И тогда дело за ним».

Главный визирь был спокоен, но в словах его чувствовалась тревога. Он продолжал, ибо хотелось ему, как видно, поделиться с кем-нибудь из верных людей:

«Исмаилиты подымают голову. Под фальшивым словом о свободе они готовят ниспровержение религии и власти. Есть меж ними и вовсе горячие головы. Эти люди отпетые и жаждущие крови, наподобие шакалов. Их пока мало, однако они опасны именно своим малым количеством. Эта малая часть может увлечь за собою большую часть народа. Наиболее действенную силу народа. И тогда положение может создаться отчаянное. Недавно я повелел отрезать язык и уши одному такому молодцу. Он гниет в темнице. Но жестами руки и телодвижением своим он грозит всем нам и попирает имя аллаха».

Так сказал главный визирь, и слова его до сих пор грозно звучат в ушах великого муфтия. И он недоверчиво взирал на кирпичи, которые были сложены полукругом, переходящим в полный круг. И муфтий подумал о связи между словами визиря, миром, который за спиной, и этим кирпичным зданием, где тоже мысли... Но какие это мысли? И почему вдруг сейчас, у дверей,

пришло странное озарение: а нет ли взаимосвязи между всеми этими домами — дворцом, мечетью, обсерваторией — и теми самыми горячими головами, которые грозятся ниспровергнуть все сущее? А если есть, то какова эта взаимосвязь? Должны ли все эти силы взаимодействовать гармонично на благо державы или противоборствовать меж собою для того, чтобы повергнуть в прах великое здание государства, освященное именем аллаха?..

Великий муфтий не мог ответить на это точно и безошибочно. В эту самую минуту навстречу ему направлялся Омар Хайям со своими друзьями. Они шли гурьбой, неторопливо, но и не медленно. Шли с достоинством и радушием, ибо так положено доброму хозяину.

Хакиму чему-то радовался. Это сразу подметил великий муфтий.

— Твой приход — великий подарок, — сказал Омар Хайям. Он почтительно склонил голову.

Великому муфтию почудилось, что полуоткрытые глаза хакима источают чуть приметное лукавство. Знатный гость не сразу перешагнул через порог.

— Спасибо, — сказал он. — Я надеюсь, что услышу от тебя нечто такое, что усугубит мои познания о природе вещей, в чем я, сказать по правде, не особенно силен.

Хакиму кивнул. И широким жестом пригласил в помещение. В круглое. Странное на вид.



ЭТА ГЛАВА ЯВЛЯЕТСЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕМ ПРЕДЫДУЩЕЙ

Знатного гостя Омар Хайям провел на самый верх — на плоскую и круглую кровлю обсерватории. Муфтий и сопровождавшие его лица, о которых трудно сказать что-либо определенное, кроме того, что они все время молчали, прошли по кругу, несмело посмотрели вниз.

— Высоко, — заметил муфтий и отошел подальше от границы круга. Он обратил сугубое внимание на изразцовый пол, который гладок и на котором выложены радиальные линии, хорды и концентрические круги. А по краю круга пол градуирован при помощи изразцовых плит разной окраски: градусы — красного цвета, минуты — желтого. А весь круг смолисто-черный, такой блестящий и прочный. «Дорогая штука», — подумал муфтий.

Омар Хайям давал пояснения. А друзья его — Исфизари, Васети, Хазини и Лоукари — вставляли словечки, когда Хайям устремлял в их сторону вопросительный взгляд.

— Этот круг, называемый азимутальным, разделен на триста шестьдесят градусов, — говорил хаким. — Градусы и минуты отмечены соответственно.

— А секунды? — спросил муфтий.

— Они помечены особой краской, и, чтобы разглядеть их, надо подойти к самому краю... А от твоих ног к большой окружности лежит радиус, выполненный из бла-

городного сплава. Это подвижной радиус, и по нему легко отсчитать число градусов, минут и секунд.

— Значит, радиус, — проговорил муфтий.

— По нему ориентирована горизонтальная ось вот этой астролябии...

Омар Хайям подвел высокого гостя к центру круга, где на специально устроенной металлической перекладине на бронзовой цепи была подвешена тонкой работы латунная астролябия.

— Это немножко трудно, но мы можем определить любой нужный нам угол в горизонтальной плоскости небесной сферы, — объяснял хаким. — Причем надо учесть, что мы сию минуту стоим на исфаханском меридиане и смотрим точно на юг. А за спиною у нас точно север. Меридиан этот выложен голубыми плитами.

— Вижу, вижу, — сказал муфтий, выказывая внешнюю заинтересованность всеми этими меридианами, горизонталями и астролябиями. Говоря по правде, все это было не очень понятно, но любопытно. Однако главное было впереди: к чему все это, что даст все это в итоге? До поры до времени муфтий скрывал нетерпение, но и слушать все эти ученые речи было ему довольно-таки тягостно.

Сама по себе астролябия оказалась незаурядной вещью. Наверное, тот, кто смастерил ее, был большой мастак. Разумеется, не так-то просто подобрать металл. Но еще труднее выковать из него этот вертикальный диск, отшлифовать его, нанести градусы и минуты, приделать алидаду, которая должна ходить по кругу, изображая из себя овеществленный диаметр. Эта алидада, будучи направленной на светило, дает на круге отсчет градусов и минут. Как объяснил хаким, зная число градусов возвышения и азимутальное число относительного исфаханского меридиана, можно определить местоположение любой звезды на небесной сфере. Для большей наглядности

хаким показал некую сферу из меди, которая походила на земной глобус. На эту сферу были нанесены созвездия. Такой увидел бы аллах вселенную, если бы пожелал взглянуть на нее с высоты высот.

Хаким долго объяснял значение некоего медного пояса, называемого эклипстикой. Понять что-либо было совершенно невозможно. Умственное напряжение могло вызвать сильнейшую головную боль. И великий муфтий ужаснулся...

— А что, твои друзья тоже вычисляют этот угол? — спросил он хакима.

Хаким ответил:

— И этот, и многие другие.

Муфтий взглянул на каждого из них и обратился к самому себе с таким вопросом: «Неужели делать им больше нечего?» Но вслух, разумеется, этого не сказал. Он сказал совершенно противоположное:

— Это удивительно... Это трудно своей трудностью...

Великий муфтий вновь пожелал взглянуть на главную астролябию — гордость обсерватории, — с тем чтобы бросить взгляд на вселенную через две щели в алидаде. Ему с готовностью помогли в этом. И муфтий увидел то, что увидел: малюсенький кусочек синего неба. Это было все равно, что смотреть на небо сквозь игольное ушко.

— И что же? — недоуменно спросил муфтий.

— Наблюдатель видит звезду или Луну, — пояснил хаким.

— Это ночью?

— Да, ночью.

— И так все ночи?

— Да, много ночей.

Муфтию хотелось узнать: зачем все это? В самом деле, разве аллах не сотворил гармонию, достойную его величия? В чем смысл наблюдений? Раскрыть тайну его

деяний? Это невозможно! Только аллах знает свои тайны и верно хранит их. Чтобы прославить его деяния? Но это уже сделано в великой Книге. Пророк пророков Мухаммед возвеличил аллаха превыше возможного. Что же в состоянии сделать эти люди в этой обсерватории? Они или лгут, или заблуждаются. Одно из двух. Нет, зачем нужны эти ночные бдения, это дорогостоящее здание, эти дорогие приборы и эти рты, которых обязана кормить казна его величества?

Великий муфтий не спеша обошел круг, потирая руки и говоря:

— Велик аллах! Велик и милосерден...

Он искренне не понимал, к чему все эти премудрости с градусами и минутами, эклипстикой и горизонтом? Разве не сказано в Книге: «Ему принадлежит то, что в небесах и что на земле: поистине аллах богат, преславлен!»? Так что же получается? Смотреть на небо, чтобы прославлять аллаха! Но этого уже не требуется. Это сделано наилучшим образом пророком из пророков. А может быть, в опровержение всего этого? Тогда затея эта не только богоульна в сущности своей, но и тяжело наказуема, подобно воровству или грабёжам. Во имя чего построена обсерватория? Это надо знать, а чтобы знать, надо уяснить...

Ходит по кругу в задумчивости великий муфтий, а ученые наблюдают за ним. Что скажет он? Благословит или проклянет?

Великий муфтий, заложив руки за спину, подходит к хакиму. Долго, изучающе глядит на него, и борода его трясется на легком ветерке.

— Омар, известна ли тебе Книга? — Муфтий обращается к хакиму строго, как учитель.

— О да! — отвечает хаким. — Я знаю и эту, и много других. Память у меня свежа, и я читаю наизусть многие книги.

— Нет, — останавливает его муфтий, — я имею в виду Книгу всех книг, источник всяческой мудрости и всяческого блаженства, оружие против нечестивых и щит правоверных. Я говорю не о многих, но только об одной. Да будет это тебе ясно, Омар!

Омар Хайям склоняет голову в знак того, что все уразумел в точности.

— В Книге сказано: «Он научил Корану, сотворил человека, научил его изъясняться. Солнце и Луна — по сроку, трава и деревья поклоняются...»

Хаким продолжил речь великого муфтия:

— «И небо Он воздвиг и установил весы...»

Муфтий был доволен. Он сказал:

— Истинно сказано. Веришь ли ты Книге, в которой эти слова?

— О да! — сказал хаким.

— Веришь ли? — переспросил муфтий, словно бы усомнившись в ответе хакима.

— Да, да, да!

Муфтий провел ладонями по лицу своему и бороде своей, словно освобождаясь от некой скверны, словно совершая некое омовение. И сказал:

— В таком случае зачем все это?

— Это? — Хаким крайне удивился. — Что — это?

— Это, — сказал муфтий и указал рукою на круг под ногами, на астролябию над полом и многочисленные приборы под чехлами.

Хаким обменялся взглядами со своими друзьями. Они дали понять ему, что на этот вопрос, столь прямой по сути своей, следует отвечать ответом, столь же прямым по сути своей. Но хаким избрал другой путь, он нашел другую тропу, чем ту, которую предлагали друзья его — немного горячие, менее опытные, менее тертые в делах дворовых, где надо иметь три глаза — два спереди, обычные, и один на затылке.

— В Книге сказано, — продолжал муфтий: — «О сонм джиннов и людей! Если можете проникнуть за пределы небес и Земли, то пройдите! Не пройдете вы, иные как с властью». Как ты это понимаешь, Омар?

И хаким ответил так, как ответил: с подчеркнутой любовью к аллаху и его неисчислимым благодеяниям, к великому творению рук его. Ответил как истый мусульманин. Те, которые пришли с муфтием, изумились словам хакима, ибо были они сказаны с достойным преклонением перед именем аллаха и его пророка Мухаммеда. Они решили про себя: «Вот человек, достойный похвалы!» Однако муфтий был выше их и видел дальше их. И он спросил:

— Так к чему все это? — И он обвел глазами то, на чем стоял, то, на что взирал, что было вокруг него в обсерватории.

— Его тайны безграничны, — ответил хаким и положил руки на грудь в знак величайшей покорности воле аллаха.

— Это так, Омар.

— Если проживешь десять жизней, все равно не проникнешь ни в одну из них до конца.

— Это так, Омар.

— А тайнам его несть числа. И считай их до конца дней своих — не сочтешь.

— Это так, Омар. В Книге сказано: «Он сотворил человека из звучащей глины, как гончарная...»

А хаким продолжил эту фразу из книги:

— «...и сотворил джиннов из чистого огня».

— «Господь обоих Востоков и господь обоих западов».

Омар...

Хаким присовокупил:

— «Он разъединил моря, которые готовы встретиться...»

Великий муфтий вдруг замешкался... Память неожиданно изменила ему. И это понятно: лет ему было немало. Но ведь Книга одна, а лет много, и ничто не должно забываться из Книги, которая священна. И хаким вырубил его, говоря:

— «Между ними преграда, через которую они не устремятся».

— Верно, Омар. Так к чему же все это, я спрашиваю?

Хаким подумал немного, поклонился, словно бы кланясь создателю Книги. И это очень пришлось по душе великому муфтию. Но ведь и хороший человек, ведь и правоверный может выйти на неверную стезю, и тогда глаза его закрываются плотной завесой, и не видит он ничего, кроме неверной стези, на которой стоит. Это так! Великий муфтий может привести тому много примеров, и каждый из них будет уроком для всего сущего, уроком жестоким, но полезным.

— Мой учитель, — начал хаким, — который есть и пребудет, великий Ибн Сина, философией своею и знаниями своими усугубил значение учения нашего и силу его...

— Ибн Сина? — спросил муфтий.

— Да, он.

— Ибн Сина? — повторил это имя муфтий. — Но при чем он? Он был любимцем шахов и хаканов, его имя на святых местах наших. Он слишком велик, чтобы произносить имя его на этой плоской кровле. Он проникал в сердце мусульман, он врачевал во имя аллаха, прославлял имя его.

— Я отдаю себе отчет в том, что я ничто перед моим учителем, — с горечью сказал хаким. — И мы не стоим мизинца его. Но смею утверждать, что идем по стопам его и дорога, указанная им, пряма и верна.

И тогда муфтий спросил в упор:

— Какое же из благодеяний господ нашего вы сочте-

те ложным? — И он оглядел всех, кто стоял вместе с ним на этой кровле.

— Проникнуть в тайны небесные не что иное, как найти дорогу к судьбе и душе человека. Разве расположение светил безразлично его величеству, тебе или простому землепашцу?

А муфтий твердил свое:

— Какое же из благодеяний господ нашего вы сочтете ложным?

— Работая здесь и не смыкая глаз по ночам, мы думаем о величии его и поражены тем, что видим. Разве это не есть одно из благодеяний его, дарованных нам?

— Нет, — отрезал муфтий, — я не о том. Я спрашиваю: «Какое же из благодеяний господ нашего вы сочтете ложным?» Тем самым я говорю: для чего суета на этой кровле и ночи, полные бдения, в то время, когда положено спать?

— А познания? — спокойно сказал хаким.

— Какие? Во имя чего и кого?

— В Книге сказано: «Опираясь на зеленые подушки и прекрасные ковры..» Мы хотим, опираясь на них, то есть на господ нашего, найти решение многих тайн земли и неба. Но тайн миллион миллионов, и чем больше открываешь их, тем больше рождается тайн.

— Это так, — согласился муфтий.

— Мы желаем, наблюдая светила, воздать должное имени его и замыслам его.

Муфтий улыбнулся, как бы спрашивая: «А так ли это?» Однако хаким, словно не замечая этого, продолжал:

— Тысяча наблюдений — тысяча результатов. Тысяча наблюдений — тысяча исправлений. Поправка к поправке, и еще раз поправка к поправке, и мы наконец приходим к истине. Возможно, все еще приближенной к истинной истине. И эти движения, которые есть наука, будут накоплением знаний, угодных человеку.

— Человеку? — прошептал муфтий.

— Да.

— Человеку? — недоверчиво повторил муфтий.

— Да, — сказал хаким.

— А не ему? — и муфтий указал на небо. Указал глазами, полными благочестия.

— И ему тоже.

Муфтию не очень понравился ответ Омара Хайяма: что значит «тоже»? И можно ли ставить на одну доску человека и небо? Этот ученый, кажется, готов пойти еще дальше и поднять человека выше небесных сфер. Особенно в своих стихах... И муфтий спросил, как бы невзначай:

— Омар, а как твои стихи?

— Мои? — удивился хаким.

— Ты же поэт, — сказал великий муфтий.

— О нет! Я не могу претендовать на столь высокое звание.

— Разве оно выше звания ученого?

— Несомненно.

Муфтий многозначительно произнес:

— Мне приходилось читать кое-какие рубаи...

Хаким продолжал, словно не расслышав слов муфтия:

— Нет, я не поэт. Поэт — это Фирдоуси. Если человек порою и грешит стишками, он еще не поэт.

— А кто же?

— Так просто... мелкий баловник...

— А я-то думал... — проговорил муфтий, но не закончил своей мысли. Он хитровато посмотрел на хакима. И еще раз повторил: — А я-то думал...

И начал спускаться вниз по лестнице.

Хаким предложил гостю отобедать, но тот отказался под благовидным предлогом: ждут во дворце...

Хаким и его друзья проводили муфтия и его спутников до ворот. Здесь муфтий остановился, чтобы напоследок

док посмотреть на обсерваторию. Покачал головой, но не сказал ни слова. А на прощание все же припомнил «поэта».

— Значит, вовсе не поэт? — спросил он.

— Истинный поэт — Фирдоуси, — уклончиво ответил хаким.

— Я рад, что рубаи, которые ходят по рукам, не принадлежат поэту. — И муфтий вышел за ворота вместе со своими провожатыми.

Когда ученые остались одни, Исфизари спросил хакима:

— К добру ли этот визит?

На это хаким ответил:

— Пока здравствует главный визирь, эта обсерватория будет стоять как скала.

— А потом?

Хаким подумал, подумал и сказал:

— Надо жить радостью сегодняшнего дня, надо вкушать все сладости сегодняшнего дня. — И весело добавил: — Нас ждет обед!



13

ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
ОБ УТРЕННЕЙ ПРОГУЛКЕ
ПО БЕРЕГУ ЗАЕНДЕРУНДА

Восток алел, желтые зубцы окрестных гор покрылись розовой краской, одна за другою гасли звезды. Воздух как бы оцепенел, предвещая жестокий зной.

Омар Хайям сказал своему другу Меймуни Васети — математику и астроному:

— Мы всю ночь следили за звездами. Никто не может сказать, что же мы высмотрели. Даже ты. И я тоже. Ценность этой ночи с точки зрения науки, может быть, определится после нашей смерти. Вот чаши с вином, вот хлеб и пастуший сыр. Позавтракаем и пройдемся немного по грешной земле. Посмотрим, что творится на ней.

Меймуни Васети согласился с хакимом. И после завтрака они направились на берег Заендерунда, на тот, на левый, где больше всего зелени. Перейдя через кирпичный многоарочный мост, они свернули налево и оказались в двух шагах от полусонных струй Заендерунда.

— Мы пойдем против течения, — сказал Омар Хайям. Васети усмехнулся.

— Я знаю эту твою страсть — идти против течения.

Хаким был одет в голубую шелковую кабу и подпоясан зеленой шалью, то есть кушаком. Васети, как всегда, — в кабу из легкой шерсти неопределенного цвета. «К такой грязь и пыль не пристаю», — шутил он.

— Друг мой, — сказал Омар Хайям, — сколько бы

мы ни глядели на звезды — а нам смотреть на них всю жизнь, — все равно придется спускаться на землю. Мы рождаемся здесь, любим здесь женщин и умираем. А потом прорастаем травой или из нас делают кувшины для вина.

— Дорогой Омар, — сказал Васети, — а есть ли в таком случае смысл в наших бдениях?

— Огромный! — воскликнул Омар Хайям.

— Круговращение планет настолько уж важно?

— Безумно!

— И эти календари, и расчеты времени, и параллельные линии?

Хайям остановился и посмотрел в глаза своему другу:

— А ты мог бы жить без них?

— Откровенно?

— Да, только откровенно.

— Нет, не мог бы.

— Вот видишь!

Друзья двинулись дальше.

— Милый Меймуни, ты умнее, чем хочешь казаться. А потому не заставляй повторять давно известные истины. Мой покойный отец отдал меня в учение достопочтенному Насиру ад-Дину Шейху Мухаммеду Мансуру. Этот ученый муж жил в Нишапуре, имел своих учеников, и главное занятие его было богословие. Со мною вместе учился замечательный наш поэт Санаи. И я помню, как учитель, отвечая на наши глупые вопросы, объяснял нам, его ученикам, все давным-давно ясное и понятное. Вроде: Джейхун течет на севере, а Нил — где-то на юге, а Ганг — на востоке... К несчастью или счастью — это пусть решает каждый, — аллах создал человека. Адам сделал все для того, чтобы мы расплодились. А раз так, то надо жить, хотя это не так уж просто. А жить — это значит любить, учиться, учить, смотреть на звезды, решать задачи...

Хайям указал на рыбаков, закинувших свои сети в реку. Иные удили рыбу с берега, и, занятые своим делом, казалось, никого не замечали. Им не было дела до прелестного восхода, когда с каждым мгновением меняются в мире краски, когда все, начиная с небес и кончая тоненькой былинкой, по-своему переживает этот переход от ночи к дню.

— Они добывают себе пищу, — сказал Хайям, — часть улова продадут на базаре и на заработанные дирхемы попытаются накормить свою семью. Это не так-то просто.

Васети пригляделся к изможденным и огрубевшим под солнцем лицам рыбаков и сказал:

— Омар, ты полагаешь, что точное определение продолжительности года или круговращения планет окажет некоторую помощь этим людям?

Хайям сорвал травинку и внимательно разглядывал ее.

— Их счастье в том, — сказал Хайям, — что живут они сегодняшним днем. Это, можно сказать, лекарство и для души, и для тела.

Они присели на огромное бревно, которое лежало у самой реки. Под ногами у них плескалась чистая, голубовато-зеленая вода. Она мчалась вперед, но у самого берега замедляла бег настолько, что, казалось, течет обратно.

Хайям поднял с земли кривую хворостинку длиной в три или четыре локтя и опустил ее одним концом в воду.

— Признаюсь тебе, — сказал Хайям, — я много думаю об Адаме и о тех, кто за семь тысячелетий со дня сотворения человека прошел через этот караван-сарай, именуемый миром. Зачем все это и во имя чего? Я этого не знаю.

— А что сказано по этому поводу у Аристотеля? — спросил Васети.

— Кажется, ничего.

— Разве вся его философия о движении не есть подтверждение необходимости смены поколений! В конечном счете не в этом ли смысл жизни?

— Меймуни, возразить мне нечего... — Омар Хайям хлестнул воду хворостинкой, а потом попытался прочертить прямую против течения. — Видишь? Вода сопротивляется. Жизнь точно вода: она сопротивляется тем, кто идет против течения.

Васети ухмыльнулся.

— И плыть всегда по течению тоже довольно противно.

Хайям сказал:

— Аристотель, несомненно, прав, когда говорит о движении. Это мы наблюдаем каждое мгновение. Я люблю эту реку за ее стремительное движение. Я часто прихожу сюда, чтобы отдохнуть. И мне кажется, что в эти минуты я обновляюсь. Мы с тобою, Меймуни, хотим этого или не хотим, тоже участвуем в движении.

Омар Хайям обратился к прошлому. Взять, например, поэзию. Кто велик в этой области? Несомненно, Фирдоуси. Его «Шах-намэ» * будет жить, пока цел этот странный караван-сарай, то есть мир. Фирдоуси — солнце. Но есть и другие светила на персидском поэтическом небосклоне. Например: Рудаки, Шахид Балхи, Абу-Шукур Балхи, Абу Салик Гургани, Абу-Саид, Кисаи. Что собою являла бы жизнь без них? Конечно, масло из сезама ** и ячменные лепешки существовали бы, но жизни подлинной не существовало бы... Вот эти рыбаки. Они не мыслят жизни без рыбы и без единого дирхема в кар-

* «Шах-намэ» («Книга царей») — знаменитая поэма Фирдоуси.

** Сезам, или кунжут, — маслянистое однолетнее растение.

мане. А на досуге они сошли бы с ума без Фирдоуси. Значит, поэзия тоже сама жизнь. Или это не так?

— Ну почему же, — согласился Васети, — здесь у нас с тобою не будет спора. Со стародавних времен поэзия в нашем народе соседствует с ячменной лепешкой.

Хайям обратился к науке. То ли ему хотелось в чем-то убедить своего друга, то ли сам желал еще раз убедиться в некоторых, по его мнению, непреложных истинах.

Кто солнце науки? Несравненный Ибн Сина. Есть светила и рядом с ним. Пусть они светят не столь уж ярко, но это светила! Настоящие! Неподдельные! Ал-Кинди, например, многое перенявший у Аристотеля и много сделавший сам в медицине, геометрии, астрономии, музыке. Разве не велик и Фараби, тоже следовавший за Аристотелем? А Мухаммед ибн-Муса ал-Хорезми? Он прославил Багдад своей астрономией и математикой. А что сказать об Ал-Баттани? Он сделал то, что никому не удавалось до него: точно определил продолжительность года. Баттани объявил: триста шестьдесят пять дней, пять часов и двадцать четыре секунды. Если он и ошибся, то на ничтожно малое количество минут и секунд. Разве это не изумительно само по себе?

Однако самое удивительное будет впереди, а именно: Бируни определит вращение Земли вокруг воображаемой оси. Но и это не все. Бируни выскажет почти сказочную догадку, которая опрокинет учение Птолемея начисто. С его неподвижной Землей и вращающимся вокруг нее Солнцем и светилами. Бируни скажет: нет, все наоборот!

О чем все это говорит? О движении? Это так. Но есть кое-что поважнее самого движения как такового. Жизнь в ее проявлениях — бесчисленных, разнообразных. Это утро, эта река, эти рыбаки, это небо, эта земля... Цель жизни едина и велика: поддерживать жизнь! Разве это не удивительно?! Разве не прекрасно?

Васети полагает, что если ставить вопрос так, и только так, то это скорее приведет к грубым заключениям и даже чревоугодию. А духовное? Как сочетать духовное с низким, поэзию и музыку с овсяной лепешкой и глотком воды? Не приведет ли это к чисто животному интересу в жизни, к ее обыденным и недалевидным желаниям? Скажем, эти рыбаки...

— Эй, уважаемый! — крикнул Васети рыбаку, который сидел ближе прочих к ним, удя рыбу и не спуская глаз с поверхности воды.

Тот повернул к Васети рябое костистое лицо, прошамкал:

— Шлушаю тебя, гошподин.

— Ты не мог бы назвать свое самое большое желание?

— Шамое, шамое? — спросил рыбак.

— Да. Именно.

— Поймать хотя бы пяток рыбок.

— А еще?

— Еще штолько же жавтра.

Рыбак снова уставился на воду.

— Слышал? — обратился Васети к Хайяму. — Философия сиюминутной жизни в чистом виде, не угодно ли?

Хайям возразил:

— Нет, не угодно! Это не философия. Это верх желаний голодного и бедного человека.

— Сделай поправку, Омар: большинства людей.

Омар Хайям сказал, что, если даже рыба предел желаний, это лучше, чем блаженство рая где-то в отдаленном и очень туманном будущем.

Васети рассмеялся.

— Это хорошо известно, Омар: ты в кредит не ве-ришь.

— Да, не верю. Предпочитаю наличными и немедленно, пока бьется мое сердце.

— Это знаем по твоим стихам.

— И ничего вы не знаете! — проворчал Хайям. Он крепко ударил хворостинкой по воде. И повторил: — Не знаете!

— Согласен! — И, смеясь, Васети продолжил: — Мы много не знаем из того, что ты иногда сочинишь и куда-то прячешь.

Хайям казался рассерженным.

— И ничего я не прячу! Я просто кидаю их куда попало. Чаще всего приобщаю к мусору.

Васети перестал смеяться. Положил руку на колено Хайяму. Сказал:

— Мы друзья, Омар?

Тот кивнул.

— Мы давно работаем рядом?

— Скоро двадцать лет.

— Я до сих пор не уразумел одного...

— Только одного? — улыбнулся Хайям.

— Ты не смейся. Только одного...

— Люди иногда всю жизнь живут бок о бок и умиряют, так и не поняв друг друга.

— Омар, ответь мне на вопрос: почему ты делаешь вид, что стихи не твое дело, что стихи вовсе тебя не касаются?

Хайям медленно поднял правую руку.

— Это неправда. Я люблю Фирдоуси и некоторые стихи Ибн Сины.

— Я не о том, Омар. Я имею в виду твои стихи. Именно твои, а не чьи-либо другие.

Хайям бросил хворостину в воду, подпер голову руками.

Васети сказал:

— Мы, твои друзья, часто подбираем твои стихи. Прямо с пола. И храним у себя...

— ...и отдаете переписчикам? — перебил Хайям.

— Только не я. Может быть, ты стесняешься занятия стихами? Если это так, я никогда не напомним о них.

Омар Хайям погладил бороду, потер лоб обеими руками, точно у него болела голова. И сказал:

— Это неправда: никто не должен стесняться стихов, в том числе и я, если они настоящие. Вот мое мнение о поэзии: она сама жизнь! И тот, кто говорит: я позабавлюсь стихами, а потом обращаюсь к настоящему делу, — тот глубоко ошибается. Тот, кто слагает хорошие стихи, тот живет полной жизнью. Поезжай в Гарм-Сир до самого моря, сходи в Лур до самого южного залива, поезжай в Казвин или в противоположную сторону — в Хорасан, и на всем нескончаемом пути ты встретишь людей, которые поют песни и читают стихи. Ибо они хотят жить. Они не говорят, что Бируни сказал то-то и то-то, они не говорят, что Архимед сделал то-то и то-то. Они читают Фирдоуси и плачут вместе с ним, и радуются вместе с ним. Когда достопочтенный Санаи пишет стихи, он живет большой и нужной жизнью. Он при этом и шах, и султан, и хакан, и раджа. Я хочу сказать, что он царь царей всех народов и стран. Госпожа Поэзия слишком добра и слишком сурова. Лик ее и мил, и уродлив. Это смотря по тому, к кому с каким сердцем и с какой душой поворотится она. Госпожа Поэзия к тому же учительница — требовательная и скупая на похвалы. И когда меня кое-кто по недомыслию называет поэтом, я внутренне трясусь от страха и стыда! Говорю это тебе без ложной скромности: я всего-навсего прилежный ученый, идущий по стопам великих. А по должности — астролог его величества. Вот откуда этот страх, о котором говорю тебе.

Васети слушал со вниманием и сочувствием. Все, что бы ни делал или ни говорил Омар эбнэ Ибрахим, он делал и говорил серьезно, обдуманно, убежденно. И вместо того чтобы затевать спор со своим другом, Васети про-

читал рубаи. Он читал стоя, торжественно, правда, не совсем умело.

Рябой рыбак прислушался к Васети. И он крикнул молодому рыбаку, сидевшему на берегу, чуть поодаль:

— Баба! Поди-ка сюда, здесь идет соревнование поэтов.

Тот, которого звали Баба, живо откликнулся, позвал еще кого-то.

Васети продолжал читать рубаи, и даже лучше, чем наедине с Хайямом.

Хаким поднял голову и увидел светящиеся глаза, воистину турецкие красивейшие глаза бедных, тщедушных на вид людей. Они были рады. Они благодарно смотрели на Васети, подбодряли его.

А когда Васети передохнул, один молодой рыбак принялся читать сам — бейты и рубаи, газели и касыды. Читал нараспев, с удовольствием, самозабвенно. И наконец устал. Тогда слово перехватил пожилой человек, седобородый и скуластый. Он читал выразительно, обращаясь ко всем поочередно. Читал про любовь и розы, про вино и женщин, про битвы и разлуку...

— А теперь ты, уважаемый господин, — попросил он Васети.

Меймуни Васети провозгласил стихами тост за любовь. А потом он показал, иллюстрируя рубаи, как меджнун разбил чашу о камень. Это очень понравилось рыбакам.

— Нашстоящий мушшина! — сказал рябой.

— Повтори-ка снова, уважаемый господин, — попросили его друзья.

Васети повторил. Потом прочел про жизнь и про смерть, и про то, что поэт не верит в рай, а желает рая здесь, на земле, на зеленой лужайке вместе с сереброгрудой...

Это привело рыбаков в восторг. Они просили, требовали еще, умоляли — еще!..

Васети, кажется, исчерпал рубаи. Он указал на Хайяма:

— Просите его.

Омар Хайям глухо, негромко полупропел рубаи о неверности красавиц. Однако меджуна из рубаи успокаивало одно: он сам неверен красавицам... Потом прочитал несколько рубаи о гончаре и жестоком боге, который разбивает свои творения, подобно непригодным кувшинам. А потом еще о тайнах мироздания, которые отгадывай — не отгадаешь. И еще о том, что не верит в кредит и требует от бога наличными здесь, на земле. И наконец, о том, что не желает славы, что она для истинного меджуна, влюбленного в жизнь и красавиц, подобна барабанному бою над ухом...

— Все! — сказал он и резко поднялся с места.

На него восхищенно смотрели рыбаки, и потрескавшиеся рыбацкие губы шептали слова благодарности.

— Кто ты? — спросил его рябой.

— Случайный гость, — ответил Омар Хайям. И, не говоря больше ни слова, заспешил назад, к мосту.

А за ним Васети.



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ТОМ, КАК ОМАР ХАЙЯМ
ПОБЫВАЛ ВО ДВОРЦЕ В ЧАС
ДОСУГА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

Его величество хлопнул в ладоши. Довольно громко. Чтобы услышали его музыканты. Барабан и рубаб * мигом умолкли. А ней ** продолжал звучать еще некоторое время. И тоже умолк. Танцовщицы застыли.

Малик-шах дал понять, что хочет говорить. Он откинулся на низеньком кресле и обратился к главному визирю, который сидел от него по правую руку.

— Я задам один вопрос уважаемому хакиму...

Его превосходительство Низам ал-Мулк подал знак стольничему, и тот повелел удалиться танцовщицам в соседнюю комнату. А музыканты остались на своих местах.

В зале было светло: горели все светильники — такие высокие, медные, начищенные мелом и особым горным песком, который мельче мела, если его растереть в порошок.

Омар эбнэ Ибрахим, казалось, не обратил внимания на музыку, которая умолкла, и на исчезнувших танцовщиц. По-видимому, он думал о чем-то своем. А иначе как мог он вдруг оглохнуть или ослепнуть? Он держал в руке прекрасный фиал, украшенный бирюзой, и все время смотрел куда-то вдаль: не на танцовщиц, которые гибче

* Рубаб — щипковый музыкальный инструмент.

** Ней — флейта.

лозы, не на музыкантов, чье искусство не знает себе равного от Хорасана до области Багдада. А в даль. Беспредельную.

Когда его величество изволил сказать: «Я задам один вопрос», — Омара точно разбудили от сна. Он обратил к его величеству свое лицо и слегка наклонился вперед, показывая тем самым, что он весь слух, весь внимание.

Главный визирь, сидевший по правую руку, тоже склонился в сторону его величества. И он услышал то, что услышал...

— Нельзя ли было бы узнать, — сказал его величество, не спуская глаз с ученого, — о чем думает в эти минуты господин Омар Хайям? Я понимаю моего главного визиря, который равнодушен и к музыке, и к танцам, ибо он слишком правоверен. Ну а что касается уважаемого хакима, тут я немножко озадачен...

Ученый и рта не успел открыть, как его властно остановил султан.

— Не торопись с ответом, — сказал он. — Я знаю, что ты сейчас далеко отсюда в своих мыслях. Я вижу то, что вижу. Я не сидел бы на этом троне, если бы не разбирался в вещах сравнительно несложных. Я полагаю, что тебе не стоит отпираться, если все видно и понятно даже постороннему наблюдателю.

Омар Хайям посмотрел на визиря, словно бы ища у него поддержки. И снова встретился со взглядом его величества. «Неужели ты должен придумывать свой ответ?» — как бы вопрошал султан.

Омар эбнэ Ибрахим сказал:

— У меня нет мыслей, которые мог бы утаить от твоего величества. Сердце мое открыто для тебя, как бывает открыта дверь богобоязненного человека, поджидающего добрых гостей. Я действительно был далеко отсюда. Я был далеко именно потому, что находился очень близко.

Левая бровь султана вопросительно приподнялась:

— Как это понимать, уважаемый Омар? — Его величество повернулся к своему визирю. — Разве «далеко» и «близко» понятия совместимые?

Низам ал-Мулк ничего не сказал, ибо вопрос не был прямо обращен к нему.

— Я скажу, — ответил Омар Хайям. — Сидя на этом месте, слушая музыку и любуясь танцами, то есть всем своим естеством пребывая в этом зале, возле твоего величества, я думал — причем невольно — совсем о другом. И это другое я бы определил словом «далеко».

— Мне нравится ход твоего рассуждения, — сказал султан. И главный визирь кивнул. — Но надо ли понимать твои слова в том смысле, что тебе скучно здесь?

— Отнюдь, — сказал Омар Хайям.

— В таком случае поясни свою мысль.

— Твое величество, я это сделаю весьма охотно. И если выразить ее в двух словах, то вместил бы в два противоположных понятия: «жизнь и смерть».

Его величество удивился.

— Как, ты думаешь за столом о смерти? — сказал он.

Омар Хайям опустил голову в знак согласия.

— Так, — продолжал его величество, все больше любопытствуя. — Что же напоминает тебе о смерти? Неужели здесь, в этом зале, есть предмет, который навевает столь мрачную мысль? Укажи на него — и я распоряжусь убрать его!

— Бесполезно, — проговорил ученый.

— Что бесполезно?

— Убирать этот предмет.

— Почему?

— Это невозможно...

Его величество подбоченился. Прошелся внимательно взглядом по стенам, потолку, полу, окнам с причуд-

ливыми решетками и дверям, которые инкрустированы костью и красной медью.

— Я не вижу ничего невозможного...

Одно слово Омара эбнэ Ибрахима, и, казалось, любая вещь вылетела бы отсюда в мгновение ока.

— Его величество ждет, — напомнил ученому главный визирь.

— Это невозможно по одной причине, — сказал Омар Хайям. — Предмет, который сию минуту навевает мысль о смерти, — это жизнь.

— Как?! — воскликнул удивленный султан.

— Жизнь, — повторил Омар.

— Эта жизнь? — Его величество широким жестом обвел рукою зал.

— В данном случае эта. А в общем, любая жизнь в любой ее форме.

Султан скрестил руки на груди. На кончике языка его вертелся один вопрос. Его величество только сожалел, кому его задать: ученому или визирю? И остановил свой выбор на последнем:

— Как это понимать?

Главный визирь сказал, что, как утверждают ученые, еще Платон доказывал, что жить — это умирать. То есть смерть есть следствие жизни. Не будь жизни, не было бы и смерти.

— Это ясно, — вздохнул султан, которого вдруг заставили думать о смерти в этот прекрасный вечер. — Стало быть, уважаемый Омар, наблюдая жизнь в любой ее форме, невольно думает о конце ее. Иначе говоря, о смерти. Это объяснение верно? — спросил султан ученого.

— Совершенно, — сказал Омар.

Его величество отпил глоток вина.

— Значит, — как бы размышляя, сказал султан, — наша сегодняшняя беседа, наша скромная трапеза, му-

зыка и танцы наводят на мысль о смерти? Чьей же? — И он глянул на ученого исподлобья. Эдак недоверчиво, эдак подчеркнuto вопросительно...

Омар ответил:

— Речь идет о некоей субстанции, которая может выразить и жизнь и смерть. Как если бы из одной вытекала другая.

Его величество признался:

— Слишком тонкая философия. Нельзя ли ее высказать применительно к этому? — И его величество указал рукою на стол, на пол, на потолок, на музыкантов.

Молодой ученый кивнул. И начал с того, что поставленный в такой форме вопрос скорее приведет к поэзии, нежели к философии.

— И это хорошо! — обрадовался султан.

— Это сильно затруднит дело, — сказал ученый.

— Почему же?

— Очень просто, твое величество. Философия отвечает на сложный вопрос умозрительным заключением. Философия без труда примиряет эти два понятия — жизнь и смерть, между тем, как поэзия никогда не приемлет смерти. А почему? Я отвечаю: потому что это слишком жестоко, а все, что жестоко, не может быть принято, одобрено поэзией в любой форме. Поэзия есть течение мыслей, рожденных в сердце. А сердце никогда не примирится со смертью.

Его величество взял в руки фиал и омочил в нем губы. Разговор, по его мнению, принял слишком отвлеченный характер. Его вопрос — первоначальный — предполагал более конкретный ответ. Удовлетворительный ответ пока не получен, а его величество рассчитывал именно на него.

— Любуясь танцовщицами, — пояснил ученый, — и вслушиваясь в гармонию звуков, я невольно думаю о смерти...

— Почему? — перебил его султан.

— Не знаю. Может быть, потому, что хотелось бы вечно наслаждаться жизнью.

Султан расхохотался.

— И телом?..

— Да, и телом.

— Прекрасно! — Его величество указал на фиал, стоящий перед Омаром, и на фиал, стоящий перед визирем. — Выпьем за чудесную плоть!

— В наши годы? — прошептал визирь.

Султан расхохотался пуше прежнего.

— А почему бы и нет?! Разве любовь — удел только молодых? А? Почему мы должны целиком уступить ее господину Хайяму? Только потому, что он моложе? А? Нет, я не уступлю! А ты?

Главный визирь угрюмо молчал.

Ученый сказал:

— У тебя, твое величество, всегда хорошо. Хорошо для сердца и ума, для глаз и ушей. Здесь, под твоим добрым взглядом, вырастаешь на целую голову. И когда я думал о смерти, я хотел сказать, что невозможно представить себе расставание со всем этим. Причем расставания навеки. И знать, что больше этой красоты не увидишь никогда...

— Никогда, — как эхо повторил его величество. И вдруг загрустил. Он поставил на место фиал. И погрузился в долгое раздумье, уставившись взглядом в какую-то точку на суфре, вышитой золотом руками хорасанских вышивальщиц.

В зале было тихо — пролетит муха, и ту слышно. Султан обеими руками резко расправил усы и бороду, потрянул головой, покрытой тяжелыми прядями черных-пречерных волос. И снова рассмеялся. Звонко эдак. По-молодому. И глаза его сощурились при этом. И лицо его просияло...

— Что же из всего сказанного следует? — обратился его величество к хакиму. — А?

Омар Хайям сказал:

— Из этого следует, твое величество, что надо пить, надо наслаждаться жизнью и...

Султан весьма повеселел и хлопнул в ладоши. Изволил приказать, чтобы танцевали, чтобы играла музыка. И сказал визирю:

— Ты слышал?

Тот кивнул.

— Нет, ты слышал? А ну-ка повтори, господин Хайям. Ученый в точности повторил свои слова.

— Слышал? — снова спросил султан, обращаясь к своему визирю. Затем ему захотелось узнать: есть ли ответ ученого — ответ философа или поэта? То есть приходят ли в полную гармонию меж собою философия и поэзия?

— Наверняка, — сказал Омар Хайям.

Султан спросил визиря:

— Тебя этот ответ устраивает?

— Пожалуй, — ответил визирь.

— Меня тоже, — сказал султан. И опустошил фиал — медленно, неторопливо, вкушая сладость вина.

И он увидел перед собою трех красавиц, тела которых были гибки, как лозы. Одна из них была нубийка, другая туранка, а третья румийка. Их бедра и груди соперничали меж собою. Красавицы были слишком земными, чтобы думать о смерти. И если бы груди их могли звенеть, как колокольчики, они при каждом движении бедер вызванивали бы серебристыми голосами: «Жизнь! Жизнь! Жизнь!»



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
ОБ ОДНОМ ГОСТЕ ИЗ НИШАПУРА

Хаким Омар Хайям производил сложные геометрические вычисления, когда вошел привратник и доложил о прибытии некоего ремесленника из Нишапура. Хаким терпеть не мог, когда прерывали его работу. Это он запрещал строго-настроено. Однако при слове «Нишапур» хаким отложил в сторону книгу, которую держал на коленях, — это был старинный, тяжелый фолиант.

— Из Нишапура, говоришь? — осведомился хаким.

— Да, господин. Он говорит, что привез письмо от мужа твоей сестры имама Мухаммеда ал-Багдади.

Омар Хайям живо поднялся со своего места и сказал слуге:

— Веди его сюда.

И вскоре в комнату вошел человек небольшого роста, худощавый и загорелый, возрастом лет пятидесяти. Судя по одежде, был он среднего достатка.

Нишапурец остановился на пороге, словно бы не решаясь переступить его, низко поклонился и сказал:

— Мир дому сему, в котором изволит проживать знаменитый и многоуважаемый господин Омар эбнэ Ибрахим.

— Добро пожаловать, — сказал хаким. — Кто ты и правда ли, что ты из Нишапура?

— Зовут меня Бижан эбнэ Хуррад, — сказал ниша-

пурец и сделал шаг вперед. — Я призываю аллаха ниспослать тебе здоровья на долгие и счастливые годы.

Хаким двинулся навстречу гостю.

— Да, годы идут, — продолжал гость, — и они неумолимы: все стареет и меняется под их воздействием. И они уродуют нас до неузнаваемости. — И повторил, приложив руку ко лбу: — До неузнаваемости...

— Воистину так, — согласился хаким, напрягая свою память, чтобы распознать, кто же этот пришелец.

Омар Хайям усадил гостя поудобнее, велел привратнику принести вина и холодной воды.

Бижан эбнэ Хуррад говорил:

— Время делает человека совершенно иным. С одной стороны, оно как бы наделяет его мудростью, а с другой — нагоняет такую немощь, которая делает почти излишней эту самую мудрость. Не так ли, Омар?

— Уважаемый, — отвечивал хаким, — в твоих словах заключена большая правда. Однако в этом неумолимом воздействии времени я вижу нечто благотворное. Оно заключается в том, что люди, объединенные в одно сообщество, имеют в среде своей как всемогущую юность, так и многоопытную старость. Это сочетание необходимо для жизни, для людей. Невозможно представить себе юность, которая порхает, как бабочка, без зрелости, которая смотрит на мир особенными глазами. Что юность без зрелости?

Гость кивнул. И почтительно спросил:

— Если ты, уважаемый Омар, не смог узнать своего друга детства, то возможно ли расценить время иначе, как беспощадное?

— Друга детства? — удивился Омар Хайям.

Он внимательно пригляделся к гостю, вороша свою память, но все еще пребывал в полном неведении: кто перед ним, когда они виделись и где?

— Бижан... Бижан, — повторял хаким. И вдруг заключил гостя в горячие объятия друга.

Не часто хаким обнимал людей, не часто давал волю своим чувствам. Все, даже те, кто знал его близко, утверждали, что хаким чуждается людей, что предпочитает одиночество, что не ищет собеседников, если к тому не вынуждает его важное дело...

— Да, тот самый Бижан, — сказал гость. — Если припомнишь, мы ходили в одно и то же медресе, позже — к одному и тому же учителю. Это было в Нишапуре ни много, ни мало тридцать пять лет назад.

Омар Хайям был рад этой встрече с другом детства. С давних пор судьба безжалостно развела их: Омар — и Исфахане, а Бижан занимается тем, чем занимался отец хакима, — ремеслом палаточника.

— Я делаю палатки, — рассказывал Бижан эбнэ Хуррад, — я шью их так, как учил твой отец, покойный Ибрахим. Их охотно покупают купцы из Балха и Бухары и даже из самого Самарканда.

Хаким слушал Бижана, а сам думал о тех далеких, но счастливых годах, когда родной кров казался красивейшим дворцом и мире, когда ячменная лепешка могла соперничать с лучшими яствами Индии и Багдада. Хаким вспомнил смуглого мальчонку, с которым бегал по садам и улочкам, с которым набирался ума-разума у седовластого имама.

— Послушай, — говорит Бижан, — я тебя тотчас же узнал. Прямо с порога. Да, это ты, мальчик Омар, только немного повзрослевший. Поверь мне: твои черты не слишком изменились. И я тебя узнал бы даже в базарной сутолоке.

Омару Хайяму было вручено письмо от имама Мухаммеда ал-Багдади, его шурина. Мухаммед писал, что сестра его жива и здорова, что оба они, Мухаммед с женою, соскучились по хакиму, слава которого докатилась

и до Нишапура. Шурин выражал надежду, что в свое время каким вспомнит свою истинную родину и вернется к ней, чтобы служить ей наукой и стихами. Мухаммед писал, что это письмо передаст ему друг детства Бижан эбнэ Хуррад, тот самый Бижан, который вместе с Омаром ходил в медресе. Бижан славный ремесленник, однако его притесняет местный правитель, и Мухаммед надеется, что Бижан, друг детства Омара Хайяма, найдет у последнего хороший прием и защиту, ибо Омар близок к его величеству и к визириям его величества...

Прочитав письмо, каким угостил своего гостя обедом и только за фруктами и разными сладостями начал расспрашивать о деле, которое привело друга детства в далекую столицу.

Бижан эбнэ Хуррад сообщил, что Мухаммед и его жена, сестра Омара Хайяма, живут вполне сносно. Мухаммед посвящает много времени занятиям алмагабулой и геометрией. В этих науках он преуспевает, и не исключено, что скоро ученый мир прочитает его сочинения. Соседи, которых, наверное, помнит хаким, все, слава аллаху, живы, но сильно постарели. Жизнь течет в Нишапуре, как везде: одних аллах дарует здоровьем, других призывает к себе. Молодое поколение сменяет старое. Этот закон, может быть, и хорош для аллаха, но слишком уж суров. Непонятно, почему аллах одной рукой создает живых существ, а другой — вынимает душу из них? Нет ли тут несоответствия?

Омар Хайям поддержал старого друга, говоря:

— Полнейшее несоответствие, дорогой Бижан! Если творение рук твоих нравится тебе, не разрушай его. Если не нравится, если тебя грызет сомнение, не сотвориай его. Не правда ли?

— Что верно, то верно, — согласился Бижан. — Но не пахнет ли тут богохульством?

— Почему же богохульством?

— Очень просто: мы подвергаем сомнению его деяния. Хаким промолчал.

— Впрочем, — продолжал старый друг, — тебя обвиняют именно в богохульстве.

Омар Хайям посмотрел на Бижана испытующе и мягко заметил, что гость простодушен, что говорит он обо всем искренне, без задней мысли. Но почел за благо перевести разговор на другую тему:

— Скажи, дорогой Бижан, какая нужда заставила тебя проделать столь длинный путь от Нишапура до Исфохана? Несомненно, что-то важное. И чем могу помочь тебе?

Бижан эбнэ Хуррад выпил холодной воды, от вина отказался и сказал:

— В самом деле, не так-то легко идти с караваном от Нишапура до Исфохана. Но если ты сидишь на горячем гвозде? Если в боку у тебя заноза, не дающая тебе ни сна, им покоя? То как же тогда? Сидеть сложа руки? Хуже будет! Не обращать внимания, терпеть? Но это совершенно невозможно. Поверь мне, старый друг, я тебя никогда бы не побеспокоил, если бы не важная причина. Вот сюда дошло... — И пришелец из Нишапура указал на свой кадык. Это значило, что нечем уже дышать, что терпение лопается: куда же выше кадыка?

Хаким попивал вино мелкими-мелкими глотками и думал о жизни, которая уродует человека раньше времени. Какой же славный и нежный был поэт Бижан в юные годы. А сейчас он худ и жилист, глаза его плохо видят — постоянно щурится Бижан, — и пальцы его стали кривые от трудов, и голос охрип от времени. Омар Хайям глядит прямо в глаза Бижана, он пытается угадать черты того, юного Бижана. Но где же тот Бижан? Где та юность? Позвольте, тот ли это Бижан?..

И почему-то представляет себе речку, которая сверкает на солнце искрами и всеми цветами радуги, которая

вырывается на свет божий и радуется всех существ на земле; радуется, веселит и вдруг исчезает где-то в песках, «уходит в небытие». Так существовала ли речка? Было ли соцветье красок? Где все это? Куда девалось?

— Слушай, — говорит хаким своему другу, — жизнь что речка. Жизнь что светлячок. Жизнь что молния. Она сверкает, она взвивается к небу истовым огнецветом. А потом? А потом?

Старый, милый друг умилен. Он хватает руку хакима. Пытается ее поцеловать. Омар Хайям противится этому. Зачем? Разве возможно такое между друзьями? Разве в этом проявление дружбы?

Омар Хайям уже сочинил рубаи про жизнь и про речку, про светлячка и про жизнь. Рубаи вертятся в голове. Надо только записать на бумаге. Где перо и самаркандская бумага? Только на хорошей бумаге, только хорошими чернилами пишутся добрые и необычные слова.

Омар Хайям наполняет чашу вином. Лучшим вином, которое есть у него. Однако этот Бижан, кажется, слишком правоверный, правовернее самого муфтия... Этот Бижан предпочитает воду или, в крайнем случае, шербет. Этот Бижан не желает терять лицо перед великим поэтом. Он не говорит об этом. Но он дает понять хакиму Омару Хайяму.

Хозяин поначалу не очень понимает гостя. О чем речь? О том, чтобы не пить вина? Но разве это предмет спора? Кто сравнивает воду с вином? Кто смеет поставить рядом эти две жидкости, хотя и та и эта одинаково жизнетворны?

— Омар, тебя называют большим вольнодумцем, — говорит Бижан. — Об этом свидетельствуют и твои стихи.

Омар Хайям недоумевает:

— При чем здесь стихи?

— Их читают так, словно пьют воду из чистого колодца. Особенно молодые.

— Не знаю! Ничего об этом не ведаю...

Бижан эбнэ Хуррад почувствовал, что разговор о стихах не очень приятен Омару Хайяму. И он поступает совершенно верно, перейдя к своей просьбе, ради которой он и прибыл сюда, в Исфахан.

— Жизнь наша на волоске, — говорит Бижан. — Я всегда полагал, что человеческая жизнь не слаще собачьей. Но теперь могу сказать, что готов влачить даже собачью. Вот как тяжело!

Старый друг подробно рассказывает о жалком житье-бытье ремесленника. Трудишься с самого раннего утра и до позднего вечера. Горбом добываешь каждый кусок хлеба. Но такова доля, и на это трудно сетовать. А вот от поборов разных житья не стало. Хорасанский правитель выжимает последние соки. Цех палаточников, цех чеканщиков, кузнецов, цех пекарей и ковровщиков направил Бижана в столицу с жалобой на правителя. Ведь он все вершит именем его величества. Неужели это правда? Неужели мало его величеству пота, который проливается с утра и до вечера?

Омар Хайям понимает, чем рискует этот палаточник. Но, видимо, уж слишком приперло, ежели решается на жалобу.

— Ты собираешься вернуться в Нишапур? — спрашивает Омар Хайям.

— Разумеется. Куда же я денусь?!

— А правитель обо всем будет осведомлен?

— Наверное.

— И он тебя поблагодарит, Бижан?

— Не думаю. Поэтому-то я решил действовать через тебя. А иначе не сносить мне головы!

Бижан эбнэ Хуррад подал бумагу, тщательно завер-

нутую в платок. Она была спрятана за пазухой в прочном кожаном кармане.

Хаким прочел жалобу. Она была написана слишком витиевато, но смысл был ясен как день: о великий повелитель, помоги своим подданным — нет житья от правителя!

Омар Хайям попросил гостя время от времени подкрепляться. А себе налил вина.

— Пусть я сгорю в аду, — пошутил хозяин, указывая на фиал с вином.

— Не приведи аллах! — воскликнул набожный палаточник.

Омар Хайям спросил Бижана:

— Ты бывал в Туране?

— Нет.

— На берегах Джейхуна?

— Нет, не привелось.

— В Багдаде?

— Тоже нет. Я, уважаемый Омар, может быть, впервые оставил родной Нишапур.

— А я кое-где бывал, — сказал хаким. — И доложу тебе следующее: народ повсюду живет жалкой собачьей жизнью.

У Бижана отвисла челюсть.

— Неужели так же, как в Нишапуре?

— Может, еще хуже!

— Но ведь правители бывают разные...

— Мне жаль тебя, Бижан, ты слишком наивен.

— Так что же делать? Умирать, не проронив ни слова?

Омар Хайям осушил чашу, вытер салфеткой усы и губы. Он размышлял: огорчить этого славного Бижана или оставить в его душе местечко для надежды?..

— Я уверен, — говорил гость из Нишапура, — что если ты, который есть надим его величества, который ли-

цезреет его величество, подашь нашу жалобу и присовокупишь просьбу и от себя, то дело выгорит. Милость его велика, и пусть частица ее обратится к нам.

Бедный Бижан!.. Омар Хайям припоминает черты юного Бижана — разорителя птичьих гнезд, драчуна и непоседы. Вот и прошли его годы, и сидит перед хакимом изрядно потрепанный жизнью человек. Нет, нельзя разрушать надежду, пусть он надеется... Нельзя! Иначе...

— Хорошо, — говорит Омар Хайям, — я переговорю с главным визирем, я испрошу у него совета и поступлю согласно его словам, которые высоко ценятся. Если надо будет, я обращусь и к его величеству. Но я не сделаю ничего такого, что может повредить тебе в Нишапуре. Ты меня понял?

Бижан кивнул.

Омар Хайям, казалось, что-то вспомнил. От удовольствия потер руки и спросил:

— Ты знаешь, Бижан, где пребывают добрые правители?

— Нет, дорогой Омар, не знаю.

— Как? — Омар Хайям рассмеялся. — Это известно всем, а ты не знаешь.

— Живем далеко от столицы... — оправдывался палаточник.

— Это ничего не значит... — Омар Хайям сказал наставительно: — Так знай же, Бижан, и скажи об этом всем в Нишапуре. Скажи по секрету, не кричи на этом базар... Так вот: добрые власти живут в аду или раю... Только там, и нигде больше!

Бижану эбнэ Хурраду хотелось плакать. И смеяться и плакать в одно и то же время...



16

ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
ОБ ОДНОЙ НОЧИ, КОГДА СЕРП
ЛУНЫ БЫЛ ОСОБЕННО ЯРОК

Эльпи удивляется: откуда этот свет? Луна не толще, чем буква алеф *. Повисла серпом над плоскими кровлями Исфахана. Небо темно-зеленое, как луг в апрельский день. Единственный, неповторимый луг еще детских лет на острове Кипре. Кто может объяснить это таинственное свечение, кто укажет на истоки его? Бог, аллах? Может, святой Мухаммед?

Хаким смеется в ответ на ее вопросы. Какой бог, какой аллах? У Эльпи свой бог, у хакима свой. Нелепо спорить, чей лучше, чей справедливее, чей милосерднее.

Как нелепо? Эльпи крайне удивлена. Подобные речи в устах благочестивого хакима? И это в его годы? Когда человеку приличествует думать о рае и аде?..

О рае и аде? Хаким запрокидывает голову и пытается охватить ладонью ее груди. Но это не удается: груди упрямы, подобно двум ягням. Подобно шаловливым ягням на лугу, подобно двум прекраснейшим рыбкам из южный морей...

Он признается ей, что не мыслит рая без Эльпи. И ада тоже. Он говорит, что гурии ничто по сравнению с этими бутонами, которых не может охватить ладонью...

Она удивленно скашивает на него глаза. Она как бы

* Буква алеф — первая буква арабского алфавита.

не верит своим ушам. Или он вовсе не правоверный? Раз-
ве отрекся он от своей веры? От этой священной книги...
Как ее?.. Да, от корана!

Он отстраняется от нее. На минуту. Для того чтобы
лучше разглядеть ее. Этот лунный свет — немножко
неверный, немножко тусклый — способен все видоизме-
нить. Он как бы набрасывает на все волшебное покры-
вало, и тогда получается зрелище, радующее глаз. В эти
минуты Эльпи словно бы из мрамора — удивительная
в своей наготе. Пусть неверный лунный свет удвоил кра-
соту ее. Но и с учетом этой иллюзии Эльпи остается не-
вероятно прекрасным созданием.

Он смотрит на нее откровенно-оценивающе, и Эльпи
неловко. Почему так пристален его взгляд? Осуждающий?
Одобряющий? Влюбленный? Полупрезрительный? Кто
угадает в чарующем полумраке?..

Эльпи интересуется адом. Впрочем, и раем тоже.
В самом деле, что же там? Правда, интересуется больше
из озорства, чтобы испытать этого бородатого, красивого
мужчину. Только и всего. Любопытно все-таки, что отве-
тит ей ученый мусульманин? «Они все очень верующие, —
говорит про себя Эльпи, — аллах у них — все. Пророк
Магомет тоже все. Они верят в гурий — этих райских
красавиц. Мне об этом говорил один купец в Багдаде».

Он снова пытается охватить ее груди. Но это ему и
на сей раз не удается.

— Слишком упругие, — признается он,

— А что бы ты хотел? — говорит она. И хохочет.
Неестественно громко. Болтая в воздухе ногами.

Он сказал, что эти не совсем красивые движения боль-
ше приличествуют детям, нежели двадцатилетней краса-
вице...

— Это привычка у меня с детских лет, — ответила
она. — Лежа на песке, на берегу моря, я любила зади-
рать ноги.

— Да? — спросил он, морщась от ее грубоватой откровенности.

И все-таки она была чудо как привлекательна. И грубоватость ее проистекала от прожитых нелегких лет и ее горькой судьбы. Кто только не пользовался ею, пока не вошла она к нему. Как майская роза.

— Что ты смотришь так, господин?

— Просто так.

— Просто так не смотрят.

Она снова расхохоталась.

— Мы с тобою говорили об эдеме, — сказал он серьезно. — А знаешь ли ты, что эдем не сравнится с сегодняшним вечером? Я это говорю, все взвесив и все решив.

Она приподнялась на мягком серебристо-чистом ложе, которое на высоте одного локтя от пола. Волосы у нее распущены по плечам и спине. Такие густые, ухоженные, душистые волосы.

— Значит, мы в эдеме? — спросила Эльпи, с трудом унимая смех.

— Конечно! — воскликнул он.

— И ты при этом не кривишь душой?

— Нет! — сказал он резко.

Она бросилась на него и стала целовать. Это было неожиданно. И он, как только освободились уста из сладкого плена, сказал:

— Пантера, суцая пантера!

А потом они пили вино. Она призналась, что впервые видит мусульманина, которого почти не затронула всеобщая богобоязненность. Одно дело — христиане. Другое — мусульмане. Разве мусульманин смеет нарушить установления шариата? Разве вино не запрещается? Или это зависит от разумного толкования божественных установлений?

А он смотрел на ноги ее и думал о той высокой силе, которая своей властью и прихотью созидает подобные

ступни, подобные пальцы, полные невыразимой красоты и пропорций. Такие ножки больше пристали какой-либо хатун из знатного рода, нежели простой гречанке. В самом деле, в чем секрет красоты? Кто может ответить на этот вопрос?..

Она настаивала на своем: почему хаким не предпочтет холодную воду холодному вину?

Он нежно поцеловал ее розовые соски, отпил глоток вина и тряхнул головой. Ей показалось, что он гонит от себя какие-то неприятные мысли. Но это было не так...

Ее глаза светились индийскими фонариками. Они странно флуоресцировали. Кажется, все бледнеет перед белизною этого создания — прохладного, как мрамор, и горячего душой, как песок пустыни в полуденный зной.

Он запускает пятерню в ее волосы, густые и пахнущие ароматом косметических бальзамов. Он треплет очень нежно ее щеки и гладит небольшие, упругие уши. И думает, что и уши Эльпи соразмерны, что и здесь чудесная пропорция полностью сохранена.

Хаким наливает себе и ей. Отламывает ломтик хлеба и подносит к ее губам. И она захватывает алыми губами душистый ломтик и улыбается. Потом пьет из его рук, а он из ее фиала...

Они меняются чашами, и ей от этого весело. Запрокидывает голову, водопад черных волос изливается на ворсистый ковер. И жемчуга ее зубов так ярки!

— И все-таки ты не желаешь удовлетворить мое любопытство. Может быть, оно тебе кажется глупым?

— Какое же? — говорит он.

— Ты не боишься гнева своего бога?

— А что я совершаю? За что мне отвечать? — смеясь, спрашивает он.

— Ты пьешь вино.

— И что же?

— Вам же нельзя.

— Кому это нам?

— Мусульманам, — говорит Эльпи и протягивает кверху руки, словно пытаясь достать луну с зеленого неба.

Он молча пьет чашу вина.

— Меня за это в ад? — говорит он обиженно.

И целует ее груди и бедра.

— Меня за это в ад? — вопрошает он.

А она хохочет.

Потом хаким отстраняется от нее и, насупившись, ворчит:

— Если за все это мне и грозит ад, я согласен. Готов идти в ад. Прямо и без колебаний! Но здесь, — он стучит ладонью по ковру, — но здесь, на земле, под луною, я ничем не поступлюсь. А ты знаешь, Эльпи, в чем мой самый главный недостаток?

Она, разумеется, не знает его главного недостатка.

— А я скажу, — решительно говорит хаким. — Я не верю в кредит!

— Что ты сказал?

— Не верю в кредит!

— Как это понять, господин?

— Очень просто, — хаким наливает вина в чаши, подает ей и берет другую себе. — Я человек простой: прошу только наличными! Мне нужна в этой жизни ты, какая есть, а не в образе гурии на том свете. Мне нужно это терпкое ширазское вино на этом свете, а не там, в раю. Я хочу, чтобы меня целовали здесь, на этом свете, а не в райских кушах, не на райских лужайках. Я хочу пьянеть от аромата твоих волос здесь, на земле, а не там, в раю. Ты поняла меня? Повторю еще раз: в кредит не верю!

Она приподнялась.

— Разве не так уж важно, что ждет нас в раю? — спросила Эльпи.

— Нет, — небрежно ответил хаким.

— Господин, есть рай и у нас. Я не знаю, такой ли это рай, как ваш, мусульманский?

— Почти, — бросил он.

Хаким смотрел вверх, в темный потолок, лишенный света и оттого такой далекий и загадочный, как сам небосвод.

— Эльпи, — сказал он, не поворачивая головы, — если тебе кто-нибудь предложит блаженство на том свете, не меняй земные на них. Поверь мне! Я изведал людское горе. Я видел счастье. Меня бросало вниз, на дно сухих оврагов. Я поднимался на седьмое небо. Я и голодал, и нежился в тепле. Я и голодал, и знал сытую жизнь. Я был любим и сам любил. Меня бросали, и я бросал. И скажу тебе по истине: лучше быть брошенным здесь, чем горячо любимым на том свете. Это мое убеждение. Ты меня поняла?

Эльпи молчала. Она думала о нем: «Ни жены у него, ни детей, ни гарема. Такой одинокий и такой чудной в своих размышлениях». Она перебрала всех мужчин, которых удержала ее память, и решила, что такого еще не знала. Он был любопытнее, несомненно, умнее и привлекательнее других мужчин своими взглядами на жизнь.

Этот мужчина достаточно строен, грудь его вполне широка и крепка. Но красота его в глазах его и речах.

А он продолжал, уже как бы для себя самого:

— Я каждую ночь вперяю взгляд в бесконечность небесной сферы. Я мысленно достигаю хрустального купола. Я пытаюсь постичь тайны, скрытые от других. Я иду дорогой моего учителя Ибн Сины и Бируни. Архимед, Птоломей и Евклид указывают мне великие пути в пространстве. И с каждым днем небо становится для меня еще более загадочным, чем в тот день и час, когда я впервые посмотрел на него. Я изучаю движение Солнца, которое ходит вокруг нас. Я прислушиваюсь к вращению

Земли, которое загадочно. И я говорю себе: мир прекрасен, мир вот этих глаз, вот этих губ, вот этих бедер и этих ножек...

Говоря это, хаким поочередно целовал то, что называл, и поцелуи его были горячи, как клейма для коней в тугранских степях.

— Истинно говорю, Эльпи: без этого мир не стоит и луковичной похлебки. Без тебя и твоих глаз он пуст, он угрюм, он страшен. Без тебя в нем холодно и темно, как в пещере, в которой живут медведи памирских гор.

Она, смеясь, прижала ладонь к его губам, чтобы он замолчал. А он целовал ладонь и говорил:

— Разве вот это не рай? — Он обвел рукой пространство над собой и вокруг себя. — Это тело прекраснейшей из женщин, этот свет прекраснейшего из светил. Чем не рай?

Она погрозила пальцем. И сказала:

— Скольким ты говорил все это, мой господин? И точно такими же словами?

Для него этот вопрос был несколько неожиданным. Налил себе чашу до самых краев и, стараясь не пролить драгоценной влаги, сказал:

— Многим, Эльпи, очень многим.

Она захлопала в ладоши. Словно бы от радости. Словно бы от случайного открытия, весьма приятного душе ее и сердцу.

А он пил не отрываясь, пил с упоением, с любовью, увлеченно.

— А мне? — простонала Эльпи.

Он подал фиал и ей. Любуясь ею, спрашивал себя: «Где же больше тайны — на губах ее или на небесном своде, опоясанном Млечным Путем?» И не мог ответить на этот вопрос.



17

ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ТОМ, КАК ОМАР ХАЙЯМ
И ЕГО ДРУЗЬЯ БЕСЕДУЮТ
ПОД ЗВЕЗДАМИ

Чернильное небо. Чернильная земля. И сама обсерватория во мраке. Хазини слегка поднял противоположный глазу край алидады — и в бездонной дали возникает созвездие Лебеда. Лоукари и Омар Хайям любовались звездным небом — таким ясным и таким чистым сегодня ночью. Луна еще не взошла, и поэтому звезды, словно золотые монеты на черном бархате.

Появился Васети. Он поднялся по винтовой лестнице с нижнего этажа, где производил некие математические вычисления.

Было слегка прохладно. И это благодаря Заендерунду, который сладко шумел недалеко отсюда.

— Такая ночь для любви, — сказал хаким, — а мы с вами смотрим на небо. А ведь могли бы любоваться красавицами!

Хазини, не отрываясь от прорези алидады, сказал, что любая дева всегда лучше созвездия Девы. И всякую деву на земле, как и на небе, окружают Волопасы, Львы, Вороны, Гидры и прочее. Если любовь принять за некую эклиптику, то она пройдет как раз через Деву, а по обе стороны от нее, то есть эклиптики, окажутся Ворона с Гидрой и Волопас. Разве это не символично?..

Шутка астронома, хоть и не блистала особым остроумием, развеселила ученых.

— Господин Хазини, — сказал Омар Хайям, — смотрит на небо, а на сердце у него самое обыкновенное, земное.

— Любовь соединяет и небо и землю воедино, — заметил Хазини.

— Согласен, — сказал хаким.

Васети сравнил любовь и поэзию. Последняя мертва без любви. Что на это скажет уважаемый хаким?

— Ничего не скажу, — отозвался тот. — Аксиома не требует доказательств. Это еще древние знали. Я держусь того мнения, что вообще нельзя отрывать любовь от поэзии — их надо называть единым словом.

— Я еще не знаю такого, — признался Васети.

Хаким обратился к Хазини:

— Оторвись на минутку от Девы. Послушай нас.

— Я смотрю на Лебеда, а не на Деву.

— Это сейчас все равно. Речь идет об очень важном.

Хаким был в особенном, приподнятом настроении: ему обещаны деньги на работы по определению расстояний до небесных светил, обещана помощь в распространении нового календаря «Джалали», и, наконец, девица по имени Айше согласилась подарить ему час-другой где-нибудь на берегах Заендерунда...

Хазини отошел от астролябии, протер глаза:

— Так о чем это вы? О поэзии или о любви?

— О том и другом, — сказал Васети. — Мы ищем слово, которое объединило бы эти два прекрасных явления нашей жизни.

— Любовь и поэзию? — удивился Хазини.

— А что? Разве они не родные сестры?

— А куда же девать науку?

— Любовь и поэзия выше!

Хазини с этим не согласился. И стал доказывать, что если без любви человечество не обходится в силу своего естества, то без поэзии прожить еще можно. Человек,

то есть поэт, живет и вследствие этого сочиняет стихи и поет их. Значит, жизнь, а следовательно, и любовь выше поэзии.

Васети назвал эти рассуждения достойными какого-нибудь дебира — письмоводителя, — но никак не ученого. Он, Васети, уверен, что любовь и поэзия — одного корня, но назвать этот корень одним достойным именем пока затрудняется.

— Я не думал, что ты такой, — сказал Хазини.

— Какой? — насторожился Васети.

Было очень темно и невозможно следить за выражением лица собеседника. Однако, судя по голосам, по оттенкам их, друзья находились в добродушнейшем состоянии. Настроение хакима всегда передавалось им.

— Ты мне казался немного суховатым, — объяснил Хазини. — Твоя стихия — звезды. И больше ничего!

— Неужели свои мысли о любви я должен нести высоко, наподобие знамени?

Хахим вмешался в разговор. Он сказал:

— Спор пустой. Поверьте мне, друзья: человек одинаково обязан своим существованием и любви, и поэзии. Что же до их объединяющего имени, то оно существует. И знаете, как оно произносится?

Омар Хайям воздел руки к небу и торжественно провозгласил:

— Жизнь, друзья, жизнь!

Он обнял своих друзей, прижал каждого к груди.

— Вот так, как я обнял вас, — сказал он, — так и жизнь объемлет и любовь и поэзию. Если за поэзией не признавать права называться самой жизнью, значит, выхолостить ее. Как холостят баранов и прочих животных. Да, друзья мои, я пришел к этому выводу, прожив почти сорок пять лет.

Васети попытался поймать хакима на слове:

— Значит, ты поэт, хотя ты это и пытаешься отрицать.

Хахим энергично возразил:

— Я говорю о поэзии, а не о поэтах. Поэт — Фирдоуси. Поэты — Рудаки и Дагиги. Поэт в наше время — хахим Санаи. А все те, кто наловчился сочинять бейты и рубаи, газели и касыды, — все эти «цари поэтов» при дворах, позорящие просвещенный слух, — дурацкие создания. Я говорю не об их поэзии. Я говорю не о поэзии, угодной шахам, султанам, хаканам и их многочисленным визириям. Это не поэзия! Это подобие поэзии, фальшивая подделка. Когда мудрые люди говорят слово «поэзия», значит, имеют в виду саму жизнь, то есть жизнь, продолжающуюся в поэзии, один из рукавов реки жизни. А река жизни — да будет вам известно! — широка и необъятна.

Васети сказал:

— Уважаемый хахим, нас сейчас трое. Над нами только звезды, а под нами спящий Исфахан. И мы должны говорить только правду. Верно говорю?

— Да, — подтвердил хахим. — Это условие нашей дружбы, общей работы и общей цели.

— Прекрасно! — воскликнул Васети. — Ответь мне, уважаемый хахим: что есть твои стихи?

Во вселенной наступила тишина. Секунда. Другая. Целая минута тишины! Омар Хайям обдумывал свой ответ: правдивый, искренний.

— Какие стихи ты имеешь в виду?

— Которые мы читаем на полях твоих геометрических вычислений и философских трактатов, — пояснил Васети.

Опять тишина во всей вселенной. Секунда. Другая. Целая минута тишины! И хахим ответил:

— Это часть моей жизни. — И скороговоркой добавил: — Но я не поэт. Это звание слишком высокое. — И еще добавил: — Эклиптика пронизывает все существо созвездия Девы. Очень жаль, что где-то рядом нет созвездия Поэзии...

— А Лира? — спросил Хазини.

— Это не совсем то. На ней может бренчать любой.



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ТОМ, КАК ХАКИМ ПИРУЕТ
С ПРЕКРАСНОЙ АЙШЕ НА БЕРЕГУ
ЗАЕНДЕРУНДА

— Аллах накажет тебя! — говорит Айше.

— Ну и пусть! — отвечает Омар Хайям.

— И ты не боишься его гнева?

— Боюсь.

— А почему же ты говоришь «ну и пусть»?

Хаким не желает нынче ломать голову над различными вопросами. Он отвечает весело первыми сорвавшимися с языка словами:

— А потому, Айше, что гнев твой страшнее.

Эта небольшая лужайка, на которой устроились Айше и Омар Хайям, словно зеленое ложе. Со всех сторон она окружена кустарниками. В двух шагах шумит, пенится на камнях, бурно лижет берега светло-зеленая река Заендерунд. Над головою кусок неба — с одеяло, не больше. Такое синее небо, излучающее зной. На траве белая скатерть. Вина и фруктов вдоволь. Фрукты и жареное мясо. Зелень и мясо. Но главное — вино. Такое сыскать не так-то просто. И тонкостенные глиняные чаши отменной работы. Их очень много. Ибо хаким любит в разгар пирушки разбивать чашу о какой-нибудь камень. Черепки разлетаются в стороны. С треском. И Омар Хайям хохочет. Ему становится веселее, когда разбиваются чаши...

Сколько лет Айше? Может быть, восемнадцать? Ее мать убирает нижний этаж обсерватории. Это бедная

женщина. И у нее единственная дочь, У Айше большие, грустные глаза. Хаким их называет турецкими. И поясняет:

— Глаза турецкие — прекраснейшие в мире.

Айше краснеет, бледнеет и снова краснеет.

— Я очень стар? — спрашивает Омар Хайям.

Она не отвечает.

— Наверное, очень, — вместо нее произносит сам хаким.

— Нет, не очень, — говорит она. И краснеет. — Аллах накажет тебя.

— За что же, Айше?

— За то, что изменяешь ей...

Он привлекает ее к себе: ну зачем забывает она себе голову чужою любовью?

— Я люблю всех женщин, — говорит Омар Хайям.

— Как всех? — удивляется Айше.

— Разумеется, всех. Очень просто.

И он целует ее. И ей волей-неволей приходится верить ему, ибо нет, наверное, на свете поцелуев слаще этих...

— И потому я люблю тебя, — поясняет он.

— А ее?

— Ее тоже.

Он подносит ей чашу с вином. Отпивает из собственной. Омар Хайям советует ей пить без промедления и пить сам. Разве можно не пить, когда с ним Айше?..

Он спрашивает ее:

— Айше, откуда у тебя такие точеные ножки?

— От аллаха.

— А эти груди?

— От аллаха.

Омар Хайям задумывается. Ненадолго. Разве можно погружаться в думы в такие минуты? Ведь рядом Айше!

— Аллах накажет тебя, — строго говорит Айше.

Он ничего не хочет слышать. При чем тут аллах? При чем другие женщины? Разве можно не пить и не любить?..

— Что ты скажешь ей? — допытывается Айше.

— Ничего.

— Из страха?

— Нет. Просто так. Она знает, что я люблю всех женщин.

— И даже старых?

— Этого не говорю.

— Даже некрасивых? Даже хромых?

Он молчит. А потом говорит ей:

— Словом, я люблю женщин. Такими, какими создал их аллах.

Омар Хайям подносит к ее алым губам кусочек поджаренного мяса. Она ест и запивает вином. Это очень пьянящее вино. Так ей кажется. А он допивает чашу и с размаху бьет ее о камень. И сотни осколков разлетаются в стороны.

Он смотрит на нее и думает: «Нет, я не видел никого краше Айше».

И он искренен. И каждый раз, когда целовал женщину, думал, что именно она олицетворяет красоту. Ибо любил их безудержно. Любил их за верность и неверность, за красоту и горячность, за холодность и недоступность, за жар поцелуев и даже за измену. Любовь его столь же глубока и искренна, сколь и мимолетна. Но каждый неверный поцелуй тяжело ранил его, однако рана вскоре заживала. Так как на страже любви всегда стояло время! Оно не разрешало грустить дольше положенного, дольше положенного самим аллахом...

Хаким наклоняется к ней. И целует ее в губы долгим, долгим поцелуем. И ей кажется, что сейчас разорвется ее сердце...

Волосы ее распущены. Пахнут они мускусом и жасми-

ном, так же, как у Эльпи. И он невольно спрашивает себя: «Откуда у нее такие дорогие духи?» Он ныряет головой в черные струи волос и зарывается в них. Подбирается к ее ушам, которые походят на маленькие, твердые обиталища жемчужин, и спрашивает:

— Ты придешь ко мне ночью?

— Не знаю...

— Я буду в обсерватории. Буду совсем один.

— Не обещаю.

Ее глаза полузакрыты. И она не лжет: она ничего не может обещать.

Хаким вспоминает свою первую любовь, которая была там, далеко, в Самарканде. Та девушка походила на Айше. Очень была на нее похожа. И тоже любила повторять: «не знаю». Девушка была пятнадцатой весны, несверленный жемчуг, и ждала своего ювелира. Может, аллах и сейчас посылает Хайяму столь же великолепный подарок?..

Айше разумянилась от вина и ласк. Щеки ее пылают. И ей стыдно смотреть на него. Ее глаза глядят куда-то поверх него, может, на небо. Или еще выше. Но куда же выше?

Хаким резко поднимается, смачивает в реке платок и обматывает им свою шею.

— Чтобы от любви не разорвалось сердце, — шутит он. Ему очень хорошо.

— Я хочу воды, — говорит Айше, не глядя на Омара Хайяма.

— Приказывай! — с готовностью восклицает он. Берет под мышку большой глиняный кувшин и льет воду в меньший, совсем небольшой. А оттуда — в чашу. И пьют вместе: он — вино, а она — воду. И он просит ее разбить чашу вдребезги. О камень. Она не решается. Он подает ей пример. И тогда она тоже разбивает чашу.

— Это примета? — спрашивает она.

— Да, примета.

— Какая же?

— Тот, кто разбил чашу, испив ее до дна, — все равно вино это или вода, — будет любим вечно.

— О аллах! — вскрикивает Айше. — Значит, я буду любить тебя вечно?!

— А ты сомневаешься в этом?

Ее глаза расширились, в них засветился священный огонь, присущий только истинному меджуну. И, увидя этот огонь, Омар Хайям возрадовался юношеской радостью. Он повел ее к берегу реки.

Они стояли одни над рекою, обнявшись, словно вдруг возникшие из единого дыхания и единого сердцебиения. Она была много ниже его. Хрупка и тонка.

— Ты видишь, как мчится эта река? — спросил он.

Она сказала:

— Да.

— Ты знаешь, что она точно так же текла и семь тысяч лет назад?

Она сказала:

— Нет, не знаю. И почему семь тысячелетий? А не меньше и не больше?

Хаким объяснил ей, что человечество зародилось именно семь тысячелетий тому назад. И река эта, именуемая — и неспроста — Животворной, текла точно так же и точно так же была свидетельницей любви и счастья влюбленных.

— Да? — осведомилась она удивленно. Айше это ни разу не приходило в голову.

— А знаешь ли ты, — продолжал он, — что точно так же будет она течь и после нас?

— Наверное, — произнесла Айше, которой и эта мысль о смерти и бессмертии тоже не приходила в голову.

Он это понял и согласился с нею: в самом деле, стоит

ли изнурять себя думами о прошлом или близком и неизбежном конце?

Омар Хайям продолжал:

— Но я сейчас не о смерти. Кому она нужна? Я о том, чтобы люди вечно любили друг друга. И они будут любить вечно!

Он отошел от нее на шаг, оглядел ее с ног до головы и решил про себя: она — лучшее создание аллаха. И, наверное, никогда не видал такую красавицу с такими удивительными глазами. И за какие богоугодные дела послала ему судьба это неземное творение?..

— Айше, говорили тебе, что ты прекрасна? — спрашивает он восхищенно.

— Да, — ответила она.

— Кто же?

— Сваха.

— Тебя сватали?

— Пытались...

— И ты не вышла замуж?

— Нет.

— Почему?

— Я не знаю. Может быть, потому что бедная.

Он призадумался. Бедная? Айше — бедная?

— Ты настоящая хатун, — сказал он. — В тебе течет кровь госпожи. Именитой госпожи!

Она усмехнулась. Горькой усмешкой. Впрочем, только с виду горькой. Разве печалются в ее годы при таком стане и таких губах, при таких ножках и шее? Прочь печаль!

— Господин. — сказала обворожительно низким голосом, словно ей за двадцать и словно вполне опытная в любви, — не понимаю, почему согласилась сбежать с тобой на эту лужайку почти на целый день? Меня хватят-ся и начнут искать. Я знаю это.

— Кто хватится? — спросил он.

— Может быть, мать.

— А еще?

— Брат. Старший.

— А еще?

— Больше некому.

— А хотелось бы?

— Что?

— Давать отчет? Кой-кому. Скажем, мужу.

— Может быть. Женщинам нравится хозяйский глаз.

— Женщинам?! — воскликнул Омар Хайям.

— Да. А что?

— Я не ослышался?

— О нет!

Омар Хайям готов рассмеяться, пытается быть серьезным.

— Вы, женщины, слишком могущественны. Мы и мизинца вашего не стоим. Вы хитры. Вы умны. Вы терпеливы. Вы благородны. Вы преданны. Особенно в любви. Так зачем, спрашивается, вам хозяйский глаз? Нет, он вам не нужен. Он просто оскорбителен для вас. Это сами вы придумали его, чтобы вернее дурачить мужчин. Да, да!

Сказать по правде, Айше и не подозревала, что способна дурачить мужчин. Она была в том возрасте, когда женщина больше действует согласно инстинкту, нежели прислушивается к голосу опыта или разума. Айше нравился этот пожилой мужчина, статный и умный. Она не знала, что будет с нею через час или завтра, не говоря уже о более отдаленных временах. Она доверяла своей любви, может быть, больше, чем это полагалось. Но доверяла. А это для нее было все: сердце побеждало ум!

Омару Хайяму показалось, что его юная подруга немножко растеряна. Он подумал, что слишком стар для нее. К тому же что может он предложить ей? Замужем-

ство? Но это слишком далеко от его планов. Хаким может отдать только себя, и то на время. Может отдать свое богатство, которого нет. Эльпи он просто купил. Эльпи знала, на что идет: сегодня ее любят, а завтра? Кто поручится, что он сохранит любовь свою к ней до завтрашнего дня? Никто! Да и можно ли ручаться в таком деле? И нужно ли?..

Он повел Айше на прежнее место. И они снова уселись на зеленую траву. Она молчала, подчиняясь ему во всем. Айше не принадлежала себе — ею полностью, сам того не подозревая, овладел этот умный бородатый мужчина.

— Айше, — сказал Омар Хайям, — мне кажется, что я люблю тебя. Мне нравятся твои алые губы. Я люблю твои юные годы.

Она слушала его, склонив голову набок. Щекою касаясь его плеча.

— Ты спросишь меня — и это вполне естественно, — люблю ли я еще кого-нибудь? И я отвечу тебе откровенно: да, люблю. Но я люблю и тебя. Скажи, что бы мне сделать для тебя?

Подумав, она ответила:

— Ничего.

Хаким протянул руку к чаше. Однако Айше опередила его. Она подала ему чашу, сама налила до краев. И они выпили, не произнеся ни слова. Он изучающе осмотрел чашу, перевернул ее кверху дном и вдребезги разбил о камень.

— Я хочу есть, — признался он. — Вдруг проголодался, как шакал. Выбери мне кусок мяса. По своему вкусу. Слышишь, Айше?

И она выбрала. И подала ему. И он вдруг помрачнел. Нахмурился. И не стал есть. Она с испугом взглянула на него:

— Что с тобой, мой господин?

— Ничего.

— Ты болен?

— Да. Только не спрашивай чем.

— Не буду, — покорно произнесла Айше.

— И не надо, — сказал Омар Хайям. — Я подумал сейчас о смерти.

Айше встрепелулась. И, чуть не рыдая, произнесла:

— Только не смерть!

Он обнял ее.

— Я думаю о смерти вообще, — пояснил он, — и не могу смеяться, когда думаю о ней. Я завидую тем, кто будет сидеть на этой лужайке после нас. После того, как из меня неумолимый гончар вылепит кувшин для вина.

Айше стало немножко страшно: можно ли говорить о таких вещах, когда над головою шатер любви?

Омар Хайям вдруг резко повернулся назад. Словно его кто-то окликнул...

— Что с тобой? — спросила Айше.

— Она, это она смотрела на меня. Только что... — сказал он, не глядя на Айше.

— Кто она?

— Смерть! — произнес Омар Хайям.



ЗДЕСЬ ПРИВОДИТСЯ БЕСЕДА,
КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВОМ
ГЛАВНЫМ ВИЗИРЕМ И ОМАРОМ
ЭБНЭ ИБРАХИМОМ ХАЙЯМОМ

В пятницу утром, когда исфаханцам виделись еще последние предутренние сны, его превосходительство Низам ал-Мулк послал человека к хакиму Омару Хайяму. И наказал передать, что его превосходительство просит-де уважаемого хакима пожаловать к главному визирю для важного разговора.

В ту раннюю пору каким пребывал в объятиях прекрасной румийки. И когда слуга доложил ему о приглашении его превосходительства, Хайям не сразу сообразил, в чем дело. Но не прошло и часа, как хаким Омар эбнэ Ибрахим сидел напротив главного визиря и сердце его билось ровно.

Главный визирь погладил бороду свою обеими руками. Это означало, что настроение визиря хорошее, что на сердце его мир, что в душе его плещутся волны покоя и доброжелательства. Это был человек, пополнивший с годами и с годами приобретший остроту мысли и зоркость глаз. Он видел далеко. И мыслил широко. Это ему была обязана своим рождением, ростом и знаменитостью багдадская академия — прибежище многих ученых и талантливых мастеров по части различных приборов. А разве исфаханская обсерватория не была в полном смысле этого слова детищем его превосходительства? Разве пошел бы на великие денежные расходы его величество, если бы

не старания и советы его главного визиря?.. Не худо почаще освежать в памяти эти деяния Низама ал-Мулка...

— Что ты знаешь о странах Индии? — вдруг задал вопрос главный визирь.

Признаться, хаким немного смутился: почему именно о странах Индии? Разве что-нибудь угрожает оттуда? Или задуман поход в те страны?

— Это далекие страны, — сказал визирь.

— Да, это так.

— Купцы, побывавшие в странах Индии, рассказывают чудеса.

Еще бы! Там умеют оживлять мертвых и мнимо умерщвлять живых. Там змеи в особенном почете. И обезьяны вроде домашних животных. Там по дорогам бродят коровы и никто не смеет обидеть их.

— Разумеется, разумеется, — говорит визирь, — множество людей спит и видит во сне страны Индии. Разве не слышали рассказов о роскоши и богатстве стран Индии?

Хаким вполне согласен с визирем: каждое слово его соответствует действительности, еще и еще раз свидетельствуя о глубоких познаниях его превосходительства...

— Я угощу тебя неким напитком, — многозначительно сказал визирь, — если ты еще не пробовал его.

— И этот напиток индийский? — спросил хаким.

— Да.

— Он крепок, словно вино?

— Напротив, он как вода, но душистый. Одни называют его «та», другие — «ча», а иные — даже «са». «Ча» есть корень китайский, в то время как слово «са», кажется, цейлонское или еще какое-либо иное.

Его превосходительство хлопнул в ладоши: дверь отворилась, и вошли двое чернокожих, которые несли низенький столик, инкрустированный слоновой костью, со суды серебряные и чашки с блюдцами белоснежного цвета из индийской и китайской глины.

Низенький столик поставили меж беседующими. Из пузатого сосуда налили желтоватую жидкость в чашки, и те чашки подвинули к визирю и хакиму. Вскоре хакимом почувствовал душистый запах, смешанный с паром, и не мог разобрать, что это за запах...

Визирь посоветовал хакиму не притрагиваться к чашке, пока не принесут меду и засахаренного винограда. И тогда, пригубляя из чашки, следует пить эту жидкость, именуемую «ча». Она не должна быть очень горячей или чрезмерно охлажденной, но такой, как стерпят губы и язык. Говорят, что напиток этот придает силу и гонит живительную влагу по всем внутренним органам — дыхания, пищеварения и кровотока.

Хакиму слышал краем уха о подобном напитке из далеких стран, но пить ему не приходилось. Надо полагать, что глоток такого «ча» стоит целого жбана прекраснейшего ширазского вина. А заменит ли «ча» целый жбан?

Пока напиток остывал, визирь сказал:

— Да будет тебе известно, уважаемый господин Хайям, что я близок к завершению некоего труда, который назвал бы книгой об управлении...

— Управлении? — удивился хакиму.

— Да, именно об управлении. Я имею в виду государство, а не маленькое хозяйство. Объясню, в чем дело... — Визирь притронулся пальцами к чашке и быстро отнял руку: «ча» был все еще слишком горяч. — Государство управляется мудростью правителя. Мудрость правителя проистекает от воли аллаха, который есть всему начало и конец. В священной книге приведены основы нашего существования. Живое и мертвое подчиняются законам. И когда жизнь усложняется, когда государство, подобное нашему, набирает силу и простирает неограниченно свою мощь, требуется большое умение, чтобы как следует приложить божественные установления к будничной жизни правителя и его подданных.

Хаким кивнул. И тоже притронулся пальцами к чашке. Ему показалось, что она достаточно остыла.

— Пей, — сказал визирь и пригубил напиток.

Хаким отпил глоток. Еще глоток. Подражая его превосходительству, вдохнул аромат непонятого питья...

— Ну и как? — спросил его визирь.

— Вино лучше, — простодушно ответил Омар Хайям.

— Не делай преждевременного вывода, — посоветовал ему визирь. — К этому напитку надо привыкнуть. — И, посмеявшись чуточку, добавил: — Если его добудешь, разумеется. Да и цена на него велика.

Хаким продолжал пить маленькими глотками напиток по названию «ча».

А визирь продолжал:

— Я хочу задать один вопрос. Он касается наиболее деликатного места в моей книге. Я не сомневаюсь в том, что она вызовет споры. А враги мои, в первую очередь этот разбойник Хасан Саббах, станут поносить меня хуже прежнего. Но дело сделано: книга почти готова, и никто не помешает мне обнародовать ее. Согласись, что править нашим государством не так просто. Оно раскинулось чуть ли не на полмира. И разный проживает в нем народ. В том числе и разбойник Хасан Саббах со своей шайкой. От благочестивых мусульман до безбожников и разбойников — вот тебе подданные на любой вкус! Исходя из собственного опыта, я даю советы правителям. Излагаю свои мысли...

Хаким кивнул: дескать, все понятно и справедливо.

— Но в такой стране, как наша, где человек живет земледелием и меньше торговлей, очень важно, чтобы крестьянин чувствовал себя в каком-то роде равноправным человеком. А?

Омар Хайям молчал.

— Я так думаю, — продолжал визирь. — А что значит быть человеком? Надеяться на силу своих рук и на

землю свою. Мне кажется, что грабить землепашца не полагается. Это противно священной книге и всем установлениям шариата. Тут должна быть граница. А иначе придется согласиться с этим Хасаном Саббахом и разрушить все устои нашего государства. Что ты скажешь, хаким?

Омар Хайям поставил чашку.

— Твое превосходительство, — начал он, — ты всегда поражал меня неожиданностью течения своих мыслей и дел. Я вечный должник твоей щедрости. И то, что услышали мои уши, есть великое благо для меня, бальзам для сердца моего. Как подданный и слуга его величества я ощущаю великую мудрость в твоих речах. А твое решение обнародовать книгу правителя есть благо для всего государства.

Его превосходительство слушал речи хакима благосклонно, ибо знал, что язык ученого повторяет то, что на сердце у того, и что хаким не покривит душою.

— Ты правишь мудро — твои седины тому свидетели, — говорил Омар Хайям горячо. — И то, что ты обратил свои взоры на тех, кто копошится в земле от зари до зари, есть плод твоей величайшей прозорливости. Твое превосходительство! — воскликнул Омар Хайям. — Ну сколько лет живет на земле человек? Иногда этот век можно определить по пальцам рук и ног. Иногда — вдвое, втрое больше. Пусть даже вчетверо. И все? Да, все! Увы, так положил аллах, и никто не в силах отменить его приговор. Три четверти населения нашего государства копошится в песке и навозе. В поте лица своего добывает хлеб, как высшее благо. Но ведь кусок этот очень часто вырывают у него изо рта. Беззастенчиво, грубо, жестоко, безжалостно. Ему говорят при этом: «Это для твоего господина». Ему говорят при этом: «А это для твоего верховного владыки». Ему говорят: «А это для защитников твоих, совершающих ратные подвиги». А это же крестья-

нин! В одном лице. С одной жизнью. Одним сердцем.

— Вот я о нем-то и спрашиваю тебя, хаким.

Омар Хайям развел руками.

— Если ты ждешь от меня ответа чистосердечного, я скажу.

— Именно, — сказал визирь твердо.

Подумав, Омар Хайям сказал:

— Я слишком долго смотрю на небо. Слишком долго изучаю движение светил. Я мысленно достиг крайнего предела: хрустального свода, над которым бездна. Мне порою кажется, что жизнь светил мне яснее, нежели наша, человеческая. То, что под боком, полно еще большей тайны, чем то, что над хрустальным сводом. Да, да!

Главный визирь слушал внимательно. Ученый, который был намного моложе его, пользовался уважением визиря. И словам хакима визирь придавал соответствующее значение.

Омар Хайям развивал свою мысль следующим образом:

— Нет мудрости в мире выше, чем мудрость аллаха, великого и милосердного. Это должно быть признано в начале всякого рассуждения. Потом следует, исходя из мудрости его, посмотреть на себя и себе подобных. После такого анализа я решил: здесь, на земле, должна быть обеспечена человеку сносная жизнь. Обещаниям нельзя верить! Да, нельзя верить!

Последние слова хаким произнес столь решительно, что заставил насторожиться главного визиря. Тот отхлебывал «ча», не спуская глаз с хакима.

— Мне обещают эдем? Прекрасно! Мне сулят сытую жизнь на том свете? Прекрасно! Мне обещают любовь очаровательных гурий? Хорошо! Однако, твое превосходство, поскольку ты пишешь книгу, знай: ничто против этой жизни — та, ничто против этих женщин — те

гурии! И вина глоток сильнее посулов. Вот к какому выводу я пришел, изучая вселенную такую, какая она есть.

Визирь не перебивал, не пытался помешать случайным жестом. Он держал чашку обеими руками, как бы грея их. Не часто приходилось ему видеть хакима столь возбужденным. И он подумал, что разговор этот пришелся хакиму по душе, что хаким говорит то, что думает. А это надо ценить...

— Поэтому, — продолжал Омар Хайям, — мне понятно твое просвещенное желание обратить внимание на судьбу тех, кто кормит и поит нас. Государство только выиграет, если обретет доверие крестьянина... Что было прежде? О чем пишут старинные книги? Страна не имела единого правления. Иноземцы приходили и грабили. Господин грабил слугу, купцы обманывали честных людей. И не было во всем этом никакой мудрости. Его величество счастливо обрел в твоём лице правителя всемогущего и всевидящего. И государство обрело покой, порядок. Караванные пути свободны, купцов больше не убивают и не грабят.

— А Хасан Саббах? — мрачно спросил визирь.

— Чтобы победить его в кратчайший срок, чтобы одержать верх над всеми, ему подобными, нужно милосердие к тому, кто копошится в земле и стучит по меди молотком с самого раннего утра. Надо выбить оружие у врагов, проявив внимание к смертному. И ты, твое превосходительство, верно поступаешь, раздумывая над несчастной судьбой крестьянина, раздираемого нуждой, голодом и насилием. Надо исключить эти три понятия из его жизни, да из нашей тоже, и тогда многое наладится само собою...

— Ты так полагаешь, хаким?

Омар Хайям снова вспыхнул, словно на миг приутихшее пламя. Он сказал:

— Особенно насилие, твое превосходительство! Вот

где зло, вот где беда всех бед! В семье и в государстве, в государстве и во всей вселенной!.. Я как-то был в Тусе. И однажды увидел ворону на крепостной стене. Она клевала кость, на которой чудом удержался кусок вонючего мяса. И я подумал: чья эта кость? Может быть, прежнего правителя Туса?

Визирь вздрогнул.

— Что ты говоришь, хаким? — сказал он брезгливо.

— Я говорю правду, — ответил Хайям, — только правду. И хочу обратить твое внимание вот на что: умрет бедный, умрет и его правитель. Кому достанется этот мир? Только грядущим поколениям. А больше никому!

— Это так, — согласился визирь.

— Напиши в своей книге страницы разума, внуши правителям всех степеней, что насилие есть главное зло. Внуши уважение к человеку, потеющему на клочке земли. И тогда твоя книга, которая, я уверен, есть великое произведение, станет еще более великой. Вот мое слово!

В огромном зале тихо. Солнце довольно высоко над зубчатыми голыми скалами и разом прорвалось сюда. Оно заиграло своими лучами на медных светильниках, на белоснежных вазах и загорелось зеленым пламенем на неких вьющихся растениях, обрамлявших высокие и узкие окна.

— Да, — прервал молчание визирь, — ты сказал хорошо. А главное — откровенно. Я хотел услышать твое мнение, чтобы укрепиться в своем. Когда пишешь, надо верить тому, что пишешь, надо быть убежденным в этом. Не так ли?

— Истинно так, — подтвердил хаким.

— Спасибо тебе за твои слова. Мне кажется, что книга моя будет полезной, и я дам тебе ее почитать, как только закончу.

Хаким поблагодарил за доверие, за приятную беседу, которую неожиданно подарил ему визирь. И хотел было

уйти. Но визирь остановил его. Встал, взял хакима за плечи, как бы полюбив, и прочитал рубаи. Наизусть.

Рубаи звали слушателя на лужайку, на грудь милой, к кувшину вина. Поэт говорил: пей и люби, и час этот твой. Поэт утверждал, что идущий по земле постоянно ступает на чей-нибудь глаз. Может быть, это глаза красотки, которая пленяла собою многих и сделала многих счастливыми?

Прочитав, визирь подождал, что же скажет хаким. Однако тот погрузился в свои мысли.

— Ну и как? — спросил визирь. — нравятся эти рубаи?

Визирь ждал, что хаким признает их своими, что не откажется от этих истинных перлов поэзии.

Омар Хайям ответил равнодушно:

— Мне нравятся. Особенно твое чтение.

— Это твои рубаи? — спросил визирь.

Омар Хайям отвел глаза.

— Разве я поэт? — ответил он смущенно. — Разве я поэт?



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
ОБ ОДНОЙ УЧЕНОЙ ЗАТЕЕ ОМАРА
ХАЙЯМА

Во дворе обсерватории был уголок, который особенно полюбился Омару Хайяму.

Если обогнуть здание обсерватории справа и идти вдоль ограды, узкая садовая дорожка приведет к кипарисам. Эти кипарисы стояли, словно воины, вдоль северной стены. И под их недреманным оком росли персиковые и грушевые деревья и вилась виноградная лоза. Это был прекрасный уголок, и хаким говаривал в шутку: «Вот где бы я желал вечно лежать: среди цветов и зелени и совсем недалеко от виноградной лозы».

Здесь стлался травяной ковер, и лежал он меж трех арыков, в которых протекала вода из Заендерунда. Воистину райский уголок, могущий вдохновить не только поэта, но и ученого, отрешившегося от мира ради науки!

Хаким приказал расстелить на земле широкую скатерть, принести сюда ковров и подушек для полного удобства. И завтрак заказал на свой вкус — необычный, можно даже сказать, праздничный: жареную баранью ляжку, сдобренную вином, куропаток с рисом и шафраном и горячие пшеничные лепешки. Это была еда, к которой нельзя притрагиваться без вина. Поэтому вино было выбрано красное, тягучее, терпкое, предварительно остуженное. А своего друга Исфизари хаким попросил прихватить из дому чанг. Сей ученый муж отменно играл

на чанге и недурно пел. Друзья хакима поразились: изысканный завтрак на свежем воздухе, притом в будний день!

На что хаким ответил:

— Он и будет будничным, наш достархан. Поэтому прошу запастись бумагой и перьями.

Вот каким образом прекрасным летним утром ученые оказались на лужайке в саду обсерватории. Явились ближайшие сотрудники хакима Омара Хайяма: Абулрахман Хазини, Абу-л-Аббас Лоукари, Меймуни Васети и Абу-Хатам Музаффари Исфизари. Именно этих своих сотрудников особенно высоко ставил Омар Хайям, полагая, что они виднейшие ученые и что имена их со временем будут широко известны.

Но более всего поразило гостей Омара Хайяма вино: такого, казалось, они еще никогда не пробовали. Кроме вина, был припасен еще и шербет на тот случай, если кому-нибудь не захочется вина. Но ученые подтвердили в один голос, что предпочитают пить вино, чтобы им была уготована прямая дорога в ад.

— О уважаемый хаким, — сказал Хазини, — все это чудесно, но не объяснишь ли нам, ради чего накрыт этот необычный стол?

— Объясню, — пообещал хаким.

Было довольно жарко даже здесь, в тенистом уголке. Однако мурлыкали арыки, полнились чаши с холодным вином, и даже ветерок веял, и птицы пели прямо над головой.

Хаким усадил друзей, а сам выбрал себе место рядом с кувшином вина, ибо никому не доверял столь священное дело, каковое всегда возлагается на виночерпия. И сказал:

— Господа, мы будем есть и пить, но будем и беседовать, притом на тему очень серьезную. А посему прошу вас иметь наготове бумагу и перья. Делайте необхо-

димые пометки, записывайте мысли — они очень пригодятся. А выбрал я этот уголок и еду соответственную потому, что новая работа всегда требует праздничного начала. — И добавил: — Если ее хочешь завершить успешно, тоже по-праздничному.

Сотрудники хакима переглянулись, давая понять друг другу, что ни о чем толком не осведомлены заранее и сейчас не все понимают...

Хаким попробовал мяса, поднял чашу, причмокнул губами. Его глаза загорелись и невольно обратились к небу, как бы благодаря аллаха за великое удовольствие.

За трапезой завязался разговор, и ученые незаметно окунулись в сферу, близкую им и любопытную для них. Начало беседе положил Омар Хайям. Он заметил, что любознательность, которою наделен человек, всегда служила толчком в науке, а поскольку любознательность беспредельна, как и сама жизнь, то и науке, стало быть, надлежит развиваться беспредельно. Что это значит? Возьмем простую вещь: уже древнейшие знали, что один плюс один — это два. Но любознательность повела их дальше. И вот уже два умножается на два. И так далее. Это древнейшие. А древние сумели пойти еще дальше. Они занялись корнями. И потому-то сегодня можно утверждать, что квадраты равны корням, что квадраты равны числу, что корни равны числу. Идя дальше, можно утверждать: корни и число равны квадратам. И не только утверждать, но и доказывать! Наглядно. Геометрически. То же самое можно сказать и о другом утверждении алмукабалы*: квадраты и число равны корням. То есть вырастает целая наука о числах, о корнях и квадратах. Но и здесь нет границы, и потому естествен переход к кубам.

* Алмукабала — математическое действие. Буквально: противопоставление — сокращение разных слагаемых в разных частях равенства.

Возьмем астрономию...

Тут хаким прервал самого себя и предложил выпить за астрономию — науку великую, прекрасную, как философия. И предложил попробовать куропаток с рисом под шафраном. Он это говорил, как хозяин пиршества, как глава его. Ибо и в этом деле хаким был большой мастак.

А потом продолжал:

— Птоломей — этот древний египтянин — создал стройную науку о светилах, о мироздании. И близко подошел к истине: все вертится вокруг Земли. Не так ли? Но вот проходит тысячелетие, и Сиджихи, по словам великого Бируни, заявляет, что Земля стоит на месте, но вертится вокруг себя, подобно волчку. Это подтверждает и сам Бируни! Но слушайте дальше. Бируни восхваляет Птолемея, но сам в конце жизни приходит к противоположному выводу: Солнце стоит на месте, а вращаются вокруг него светила и Земля, разумеется!

Хаким оглядел своих друзей: он весь сиял, он, казалось, был на седьмом небе. Он очень любил, когда что-либо опровергали, и очень не любил, когда твердили нечто заученное, установившееся. Если, говаривал он, мы будем твердить одно и то же, кто же поведет нас дальше по дорогам познаний? Так он говаривал...

— Наверное, тут могла вкратиться ошибка, — продолжал Омар Хайям. — Мало высказать мысль, ее надо подтвердить опытом. Бируни этого не сделал.

— Справедливо, — сказал Васети.

— Во всяком случае, это дело будущего. Что я хочу сказать? Мысль не должна застаиваться, успокаиваться — вот что! И мы собрались здесь для того, чтобы заявить об этом. Согласны со мной?

Вопрос был обращен ко всем. И ответ не составлял труда, ибо известно, что успокоившийся ум — мертвый ум. Исфизари тронул басовую струну, и над лужайкой поплыл ровный, низкий звук, подобный мужскому голосу.

— Это значит «да», — пропел ученый.

— Чаши! — воскликнул хаким.

И пять рук с чашами поднялись кверху, чтобы все это видело небо, чтобы знало оно, что все пьют поровну и без остатка.

Птицы, сидевшие на деревьях, вспорхнули, лепестки, белые и розовые, посыпались на землю. И украсили стол драгоценными монетами — живыми и ароматными.

Хакима с некоторых пор занимало одно очень важное дело. И он сообщил какое... Он раздобыл работы древних греков, а также книги Абу-л-Хасана Сабита ибн Курры Ал-Харрани и Ибн аль-Хайтама и других ученых. Он напомнил своим друзьям слова Архимеда, которые сохранили ученые, а именно: «Всякая стоячая жидкость не движется, и ее форма — форма шара». Это утверждение подлежало, по мнению Омара Хайяма, особому рассмотрению ввиду того интереса, который вызывает оно в связи с формами небесных светил. Архимед, продолжал развивать свою мысль хаким, написал книгу об устройстве небесной сферы, воспроизводящем круговращение небесных светил...

— Об этом писал еще и Прокл, — заметил Лоукари.

— Совершенно верно.

— Многие писали, — добавил Васети.

— Возможно, — согласился хаким.

— Мне кажется, — сказал Васети, — что можно попытаться опровергнуть Птоломея, но вряд ли это удастся.

— Почему? — спросил хаким настроенно.

— Это был большой ученый. Ничего зря не говорил. Воистину бог!

— И тем не менее... — Хаким взял куропатку и любовался ею.

Хазини решительно восстал против обожествления даже самого Аристотеля, даже самого Фирдоуси и Ибн Сины. Это ничего общего не имеет с подлинной наукой...

— Из тебя вышел бы неплохой ассасин *, — с улыбкой проговорил Васети.

— А почему бы и нет? — неожиданно для друзей признался Хазини.

Но слова эти восприняли как шутку: в самом деле, какой ассасин из Хазини, вечно погруженного в тайны мироздания?

— Я сейчас закончу свою мысль, — сказал хаким, — не буду вас долго мучить. Да и себя тоже... Дело в том, что Архимед попытался определить расстояние от поверхности Земли до Луны. Он указал количество стадий от Луны до Меркурия, от Меркурия до Венеры, от Солнца до Марса. И так далее. Словом, этот грек дерзнул. И у нас под рукою имеются величины этих расстояний. Я не думаю, что они очень уж точные.

И Омар Хайям и на этот раз блеснул своей отличной памятью. Он напомнил Архимедовы цифры. Вот они: расстояние от Земли до лунной орбиты — стадий ** 554 мириад и 4130 единиц; от Луны до солнечной орбиты — стадий 5026 мириад и 2065 единиц; от нее до орбиты Венеры — стадий 2027 мириад и 7165 единиц; от нее до орбиты Марса — стадий 4054 мириад и 1108 единиц; от нее до орбиты Юпитера — стадий 2027 мириад и 5065 единиц; от нее до орбиты Сатурна — стадий 4037 мириад и 2065 единиц... Затем хаким Омар Хайям перевел все эти греческие меры в количество фарсангов.

Его друзья еле поспевали за ним, чтобы записать числа, со многими из которых были знакомы еще со школьной поры, но почему-то не приходило в голову подвергнуть их проверке или сомнению.

Высказав предварительные соображения, хаким подошел к главному предмету разговора:

* Ассасин — буквально: человек, накурившийся гашиша: в европейском понимании: фанатик-убийца.

** Стадия — древнегреческая мера длины, равная 177,6 метра.

— Господа, я освежил в вашей памяти все давно вам знакомое. Не кажется ли вам вполне естественным, если мы сами попытаемся измерить указанные расстояния? Каково ваше мнение?

И хаким спокойно принял за куропатку, сказав, что весь превращается в слух. Он сидел ровно, расправив плечи, подогнув под себя ноги. На нем был синего цвета халат из однотонного шелка. И белье проглядывало на груди — бледно-голубого, воистину снежного цвета. Хаким был очень крепок, несмотря на свои сорок пять лет или около того. И о нем можно сказать: мужчина в соку!

Первым поддержал Хазини. Сотни лет тому назад измеряли расстояния до светил. Почему бы не заняться измерением сейчас, когда имеются хорошие приборы, когда знаний больше, гораздо больше...

Тут его перебил Васети:

— Вспомни, Хазини, что говорил Ибн Сина. А говорил он, что нынешние знания суть рассеянные знания древних.

— Возможно, в философии, но в астрономии после Архимеда накопилось немало любопытного. Я хочу высказать свое мнение: давайте попытаемся все измерить заново.

Лоукари и Исфизари высказались в том смысле, что следовало бы прежде обдумать пути и способы, ибо в этом и заключена вся трудность. Надо дерзать со знанием и умеючи. А есть ли и то, и другое?.. То есть достаточно ли знаний и умения?..

— Об этом я и хотел посоветоваться, — сказал хаким, с удовольствием запивая куропатку вином.

По мнению Лоукари, прежде всего необходимо определить, как говорили греки, базис. То есть прямую. При чем от точного измерения ее и зависит весь результат работы. А угловые измерения провести при нынешних астролябиях или квадратах не так уж трудно...

Хаким поддержал его кивком.

— Я сейчас представляю себе некую карту наших городов, — говорил Лоукари. — Вот, скажем, Исфахан, а на север от него — город Савас. Там много ученых. Или взять хотя бы Ормуз на юге. Или Киш, недалеко от Ормуза. Или Шираз. Можно пойти на восток от Исфахана: скажем, до Нишапура или Балха. Можно взять и другие города: Бухару и Самарканд. Предпочтительнее большие расстояния, ибо при этом меньше будет ошибок.

Хаким еще раз кивнул.

— А способы измерений? — спросил Васети.

— Обычные.

— При помощи караванов?

— А каким же еще образом?

— Я этого не знаю, — сказал Васети.

В эту минуту готов, был разгореться жаркий спор, однако хаким не допустил до этого. Он весело предложил чашу вина: после нее, дескать, все станет ясно...

— Ведь вино наш друг? — спросил он. — Не правда ли?

Ученые дружно согласились с этим.

— В таком случае — за любовь!

И все опорожнили чаши. Еще бы: кому не хочется любви? Что можно иметь против нее? Хазина прочел некие рубаи, не назвав их автора. Вот содержание: хотя этот мир и украшают ради тебя, но не полагайся на него, ибо много таких, как ты, приходят и уходят; похищай свою долю счастья, не то похитят ее другие...

Хаким погрозил пальцем своему другу. Он не любил, когда читали ему его же стихи. Он краснел при этом, точно уличенный в шалостях...

— Довольно об этом, — сказал хаким, — вернемся к тому, о чем говорил уважаемый Лоукари... Верно, нужен базис. А измерение его что же?.. — Омар Хайям задумался. — Его надо проводить обычным способом. Бе-

рем караван. Сколько фарсангов проходит он в час? Это можно определить. Сколько часов провел он в пути? Это тоже можно установить. Таким образом, мы получим расстояние между двумя крайними точками базиса.

Лоукари сказал, что все это верно. Но чем дальше будут отстоять эти точки друг от друга, тем менее вероятна ошибка, точнее, тем меньше будет ее числовое значение...

— Однако точки следует брать на одном и том же меридиане, — сказал Васети. — Это значительно облегчит измерение.

— Стало быть, с севера на юг? — спросил хаким.

— Или наоборот, — ответил Васети.

— Это будет видно. — Хаким казался озабоченным. И он сказал: — Давайте выпьем за наше начинание. Нам придется испрашивать разрешение на расходы у его величества. Что скажете, господа? Беремся за дело?

Лоукари поднял чашу.

То же самое сделал и Васети.

Их примеру последовали Хазини и Исфизари. А за Омаром Хайямом дело не стало: он уже пил из чаши и швырнул ее в кусты, опустошив.

— А теперь послушаем чанг! — воскликнул он. — Что может быть лучше музыки в таком саду?!

Он нагнулся, опустил ладонь в арык и смочил себе лоб.

— Мы чуть не перессорились, — сказал он, улыбаясь, — а жизнь все-таки хороша. Что скажешь, господин Исфизари?

А тот в ответ поднял чанг и ударил по струнам.



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ДОПОДЛИННО ИЗВЕСТНЫХ
РЕЧАХ, ПРОИЗНЕСЕННЫХ
В КРЕПОСТИ АЛАМУТ,
ЧТО ЗНАЧИТ «ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО»

Если идти на север, все на север от Исфахана, то в горах можно встретить людей, которые укажут дорогу к крепости Аламут. Но тут оговоримся: это не так просто. Сразу возникает много вопросов: кто ты? Зачем тебе нужна эта крепость? Кого ты ищешь? Зван ли туда или сам решил добираться? Суннит ты или шиит? Но ведь среди шиитов есть и исмаилиты. Ежели исмаилит, то кого назовешь из видных лиц, которые могли бы поручиться за тебя? Словом, не так-то просто попасть в крепость Аламут, а тем более поговорить с известным Хасаном Саббахом. Это главарь наиболее боевитых шиитов, называющих себя последователями пророка Исмаила, клянувшихся в верности не только обновленной религии, но и свободе. Хасан Саббах так и говорил: «Сунниты опутали нас так, что человеку невозможно дышать. Дышат в свое полное удовольствие только султан, его визири да их прихлебатели». Эти слова Хасан Саббах обращал к народу, призывал их к борьбе против богатых...

Неудивительно, что его величество Малик-шах называл Хасана Саббаха не иначе, как негодяем. А главный визирь — только разбойником. Хасан Саббах, в свою очередь, не оставался в долгу. Из «Орлиного гнезда» он извергал поток проклятий на головы султана и его визирей. Особенной ненавистью пылал этот самый Хасан

Саббах к главному визирю — его превосходительству Низаму ал-Мулку.

Придворные поэты в своих стихах изображали Хасана Саббаха человеком клыкастым, низким и уродливым, богохульником и кровопийцей. За его голову было обещано много серебра и золота. Хасан Саббах надежно укрылся в своем Аламуте, укрепленном стенами и глубокими рвами. И чувствовал себя в безопасности. Между тем как его люди, часто переодетые дервишами, совершали убийства, именовавшиеся исмаилитами «возмездиями». Ассасины наводили ужас на многих людей, и с ними невольно приходилось считаться, то есть считаться с их грозными и безжалостными действиями.

Но да будет известно каждому, что Хасан Саббах привлекал к себе сердца простолюдинов свободолюбивыми призывами. Он говорил: человек должен быть свободным. Он говорил: ислам не должен угнетать человеческую душу, а, напротив, обновлять ее. Он говорил: сунниты присвоили себе слишком много прав, а их муфтии служат орудием закабаления. И много еще подобных слов говорил Хасан Саббах. И семена, которые сеял он, попали на благодатную почву.

Разве всего этого не понимал главный визирь? Нет, он отлично все знал и пытался найти некие пути, по которым следует направить государственное правление во избежание крушения, во избежание роста насилия и взаимного истребления. Низам ал-Мулк видел далеко, но понимал, что поворачивать в какую-либо сторону налаженную жизнь государства не так-то просто. Конечно, он все понимал. А если бы не так, разве процветала бы дорогостоящая обсерватория в Исфахане или багдадская академия? И тем не менее, как бы ни был силен главный визирь, над ним простиралась власть его величества.

Хасан Саббах был худощав. Роста выше среднего. Из-под короткой черной бородки проглядывал острый

кадык. На загорелом и обветренном лице — узкие щелочки глаз, а сами глаза — неопределенного водянистого цвета. Говорил он ровным, хрипловатым голосом. Почти никогда не повышал его, но было что-то жуткое, сковывающее в этом голосе. Так мог разговаривать человек, который все взвесил и все решил. А главное, решился на все.

Было у него две жены. Но никто не видел в глаза их, и никто не знал, где они живут. Были и дети. Их тоже никто не знал. И в этой таинственности было тоже что-то угрожающее.

Хасан Саббах, как всякий одержимый, имел свои привычки, если угодно, были у него свои причуды. Вот одна из них: все дела он решал и вершил ночью, а днем отдыхал под неусыпным надзором преданной ему охраны. И эта его особенность делала вождя асасинов человеком особого склада и особой судьбы.

С высоты «Орлиного гнезда» Хасану Саббаху казалось, что он видит все. Верные люди приносили ему вести из далекого Самарканда, Бухары, Балха, из жаркого Ширази и ненавистного Исфахана. На основании этих сообщений Саббах пришел к окончательному выводу о том, что Малик-шах и его главный визирь несколько попустились, ослабили бдительность, ибо страна вроде бы умиротворена, народ оправился после многочисленных и самых различных потрясений, войны давно нет. Кому же придет в голову поднимать бунт против Малик-шаха, кто пойдет за таким бунтарем?

На этот, казалось бы, не требующий особого объяснения вопрос дал ответ сам Хасан Саббах. В один прекрасный день собрал он своих близких сообщников. Шли они разными дорогами на север страны, встречались в горах в условленных местах и оттуда направлялись в крепость. После должной и тщательной проверки их проводили в большой зал, устланный коврами.

Хасан Саббах встречал своих сообщников молча, легким поклоном.

Когда все собрались и расселись по местам, глава асасинов сказал так:

— Вчера я наблюдал за одной птичкой. Сидела она на ветке и пела. Ветка была невысоко — рукой Достать. Она пела от всей души. Не замечая меня. Не обращая на меня никакого внимания. Это продолжалось долго... Сегодня моросит дождь, тучи собрались с соседних гор и грозят ливнем. А вчера стояла теплая погода. Пахло цветами. Поэтому птичка особенно усердствовала — ей было очень и очень хорошо...

Хасан Саббах умолк, подождал, пока всех обнесут шербетом, кусками мяса и хлеба. А потом продолжал:

— Я долго слушал это пение, и мне оно стало надоедать. Все имеет свои пределы: даже красота может опротиветь. И я собирался уже уйти, как пение оборвалось. Я подошел к птичке поближе. И что же я увидел?

Он оглядел собрание своих приверженцев и сказал про себя: «Это мои люди. На них можно положиться». И остановил взгляд на одном из них, по имени Зейд эбнэ Хашим. Таким молодым, бледным и худым асасине с горящими глазами. Зейд не притрагивался к еде, пил только шербет и думал о чем-то своем. «Не этот ли?» — спросил себя Хасан Саббах и закончил свою речь следующим образом:

— И что же я увидел, подойдя поближе к ветке? Спящую птичку. Спящую, усталую от своей песни. Да, да, это было так! И тогда я сказал и себе, и мысленно обращаясь к вам: «Не так ли спят сейчас во дворце исфаханском?» Сказал и, протянув руку, без труда поймал птичку. Она встрепенулась, но уже было поздно.

Хасан Саббах поднял чашу с шербетом и остудил себя напитком. Уже ни на кого не смотрел. И все поняли,

что он сказал то, что хотел сказать. И все поняли то, что услышали.

Салех эбнэ Каги, человек преклонного возраста, ремесленник, наживший горб на бесчисленных медных чеканках, взял первое слово. Это был исфаханец, жил под боком у Малик-шаха, и его светильники приобретались управителем дворца, ибо это были светильники тонкой работы.

— В твоей притче, — сказал он, обращаясь к своему вождю, — большая правда. Птичка задремала от радости, от переполнявшей ее радости. Тому способствовали погожий день и аромат цветов. И она уснула, потеряв ощущение грозившей ей опасности. А она, несомненно, видела тебя. И наверняка опасалась твоей руки. И тем не менее попалась. — Салех эбнэ Каги говорил высоким, немного скрипучим голосом, но говорил продуманно. — Можно твою притчу полностью перенести и на людей. Но мы должны понимать разницу, которая есть между птичкой и Малик-шахом.

— Он негодяй! — прервал исфаханца хмурый вождь асасинов.

— Это дело другое, — сказал Салех эбнэ Каги, у которого была своя голова. — Негодяй отличается от птички еще больше, чем от обыкновенного человека. Этого не следует забывать, когда имеешь дело с Малик-шахом. Птичек множество, а султан один. Тут не должно быть промаха.

— Вот это верно! — воскликнул Хасан Саббах.

Саадет из Балха недолго раздумывал над тем, какое высказать соображение. Намек Хасана Саббаха не допускал двух толкований. А исфаханец осторожно призывал к осмотрительности. Саадет был одних лет с Салехом эбнэ Каги — ему тоже под пятьдесят. Однако характер иной. Исфаханец терпелив и склонен к рассуждениям, а Саадет больше думает руками или ногами. Караванная

дорога, длинная и жаркая, утомила его, но горячность его не уменьшилась. Душа его пылала, как всегда, и он, как всегда, жаждал действия.

Довод его был крайне прост: не слишком ли выжидаем, не слишком ли долготерпеливы? Это может навести на мысль о том, что скорее уснут асасины, нежели эти господа в исфаханском дворце. Это же очень просто: нельзя откладывать решительные действия до того дня, когда асасинов призовут во дворец, чтобы навести там свои порядки. Этого никогда не будет!

Хасан Саббах непрестанно кивал головой, он был согласен с каждым словом Саадета из Балха. Верно, бездействующий кинжал в конце концов ржавеет.

— Надо учесть, — сказал исфаханский чеканщик, — что неудача в нашем деле равносильна смерти. Неудача, неверный шаг надолго отобьют охоту к борьбе у многих, даже у самых горячих голов.

— В этом есть своя правда, — согласился Хасан Саббах. — Из этого следует только один вывод: надо бить без промаха!

— Это совершенно справедливо, когда речь идет об одном человеке, — возразил исфаханец, — но если подымаешь руку на все государство?

— Что же с того! — сказал Хасан Саббах. — Разницы тут никакой: промаха быть не должно!

Исфаханец пожал плечами, сказал, что послушает других. А другие не торопились высказывать свое мнение. Это не такое дело, чтобы всем наперегонки нестись. Молчали, посапывали, почесывали бороды. И тогда, безмолвно поощряемый Хасаном Саббахом, слово взял молодой Зейд эбнэ Хашим. Он вытянул сухую руку с большим кулаком и, словно бы кому-то угрожая, начал твердо, без обиняков:

— Я понимаю так: мы явились сюда неспроста. Мы званы не случайно. Смелость — половина успеха. Без нее

только дремать пристало. Без нее и шагу не сделаешь. Другая половина дела — это дерзость. Без нее тоже ничего не поделаешь. Власть достается дерзким. Вот если тебе уготован престол отцом или еще кем-либо. Если хочешь взять силой — надо дерзать. Кто хочет послужить своей вере и сокрушить врагов, тот должен сказать себе: я смел и я дерзаю!

Этот Зейд потрясал обоими кулаками. Вокруг сидели люди и постарше его, но он не обращал на это никакого внимания. Выражал свое мнение предельно ясно. Он призывал к дерзости. А как это понимать?

— Очень просто, — пояснил Зейд. — Мы сговариваемся и идем напролом. Если не успели сотворить молитву, можно и без нее. Самое главное — выигрыш времени, неимоверная дерзость и смелость.

Многие смотрели на него с удивлением. Какой такой Зейд, и что он, собственно, сотворил на своем веку? Пожалуй, нет в этом зале человека, который знал бы его по делам. Разве что сам Хасан Саббах.

Тут послышались разные голоса: одни соглашались с исфаханским чеканщиком, другие держали сторону человека из Балха. Но никто не сказал прямо: Зейд прав! Значит, молодой человек остался в одиночестве? Нет, ничего подобного! Ему была обеспечена защита.

— Принеси нам вина, — обратился Хасан Саббах к человеку с кривой саблей на боку. Этот человек стоял в дверях — он слушал и смотрел. На его место заступил другой, такой же головорез. Вскоре появилось вино. Оно было в кувшинах, холодное и терпкое. Одни пили вино, другие предпочитали шербет. Принесли горячие куски жареной дичи на вертелех и положили на большое блюдо — в три локтя диаметром. И каждый, кто хотел, брал себе кусок величиной с добрый кулак.

Хасан Саббах выпил вина, вытер усы платком, который был у него за кушаком, и сказал:

— Почему мы собрались? Не для праздных же разговоров! Они нам ни к чему. Все слышали про смелость и дерзость? Вот это настоящие слова настоящего мужа! Долго мы будем сидеть в этом «Орлином гнезде»? Мне надоело. А вам? И сколько можно? Год, два, три? Десять лет? Всю жизнь? Но разве нам отпущены две жизни? Мы хотим видеть плоды своих рук еще при нашей жизни. Я сказал вам: момент благоприятный. Многие подачками вроде бы усыплены. Они не ропшут. А кто ропшет, с тем разговоры короткие. У меня есть план. Я не хочу скрывать его от вас. Но хотел бы предупредить перед тем, как выложу его.

— Выкладывай, — сказал чей-то басовитый голос.

— Да, да! — подхватили другие.

— При одном условии, — Хасан Саббах поднял верху указательный палец. — При одном условии.

— Слушаем! — воскликнули многие.

— Условие такое, друзья: если я скажу нечто, никто не покинет этого замка без общего на то решения. Только так и можно сохранить тайну.

Все согласились с этим.

— А теперь слушайте, — Хасан Саббах очистил место перед собою, как бы для того, чтобы яснее дать понять, что же будет происходить на поле боя. — Мы спокойно могли бы захватить город Рей! Если бы захотели. Или еще какой-либо другой. Смогли бы торжествовать победу в Балхе или Бухаре. Но зачем, спрашивается. Чтобы быть втянутыми в бои с войсками Малик-шаха? Чтобы Низам ал-Мулк проклятый посадил в конце концов всех нас на кол? Разве этого мы добиваемся?.. Нет, нам нужно не это...

Все приготовились выслушать, что же нужно, что самое главное сейчас.

— Мы должны нанести удар. Но когда? Когда окончательно созреет нарыв? Да, так думают некоторые. Че-

рез год или через два? Кто предскажет точный срок? А знать это надо бы! Однако, готовя удар и нанося его, я говорю вам: держитесь подальше от разбойников, называющих себя нашими друзьями! Нам нужны умные и бесстрашные храбрецы, согласные умереть, если понадобится. А кровожадным разбойникам с большой дороги не место в наших рядах! Это, надеюсь, ясно?.. Теперь давайте подумаем, как быть дальше?

Хасан Саббах потряс руками, давая понять, что говорит он для всеобщего сведения, говорит для ушей, умеющих слушать.

Он привел один пример: вот горит здание. Его подожгли злоумышленники. Подожгли с одного конца. Что делают спящие в нем? Они просыпаются от запаха гари и убегают через покои, которые не охвачены еще огнем. Но бывает и так: дом поджигают в самой середине, самую спальню. И что же тогда? Тогда трудно выбраться из сплошного дыма, и нападающие достигают своей цели. Вот так!

Трудно сказать, насколько убедительным был пример Хасана Саббаха. Однако вождю асасинов казалось, что его поняли так, как надо. Сказать по правде, сюда, в «Орлиное гнездо», он пригласил своих сообщников, которые в большинстве своем слушают, нежели думают своей головой. Нечего терять время на убеждения, на споры. Это сплошное безумие! Ибо обо всем уже подумал сам Хасан Саббах. Нужны исполнители. Вот кто!

Исфаханец спросил, как понимать слова насчет пожара? Имеется ли в данном случае в виду столица или вся страна — от края и до края? На это вождь сказал:

— А как полагаешь ты?

— По-видимому, столица, — ответил исфаханец.

— А еще точнее?

— Неужели дворец?!

— Он самый, — спокойно пояснил Хасан Саббах.

И продолжал: — Видишь ли, брат, хороший мясник никогда не наносит удар быку, скажем, в ягодичную часть или в живот. Зачем? Чтобы наблюдать, как животное агонизирует целые сутки? Мясник целит острием ножа в самое горло, и тогда животное тотчас погибает. Ты меня понял?

— Да, разумеется. Тут и понимать нечего. Но при этом встает такой вопрос: если наносить удар по дворцу, то есть по главному лицу во дворце, то есть по Маликшаху, то что же дальше? Есть визири, есть воинство, есть дабири и многочисленные прихвостни. Как быть с ними?

На это Хасан Саббах ответил:

— Это верно. Вопрос не праздный, не надуманный. Он полон глубокого смысла. И тем не менее разве не ясно, что случается, когда отрубаете голову? Голову, а не руку!

Это известно. А все-таки нельзя государство отождествлять полностью с коровой или быком. Разумеется, исфаханец согласен с общим планом. Его интересует план в деталях, чтобы не провалиться случайно... Он подчеркивает: случайно!

Собравшиеся дали понять вождю, что в словах исфаханца есть доля справедливости и знание плана во всех его тонкостях необходимо. С чем Хасан Саббах вполне согласился.

— Я хочу, — сказал он, — чтобы наш молодой друг Зейд эбнэ Хашим встал и сел слева от меня, чтобы он все слышал и все понимал. Ежели он хочет, чтобы помощь его была решающей. Я еще раз повторяю: ежели он хочет, чтобы помощь его была решающей в нашем святом деле.

Все поворотились к молодому асассину. Тот некоторое время сидел недвижим. Казалось, задумался над словами вождя. А потом встал и, не говоря ни слова, направился

к Хасану Саббаху и занял место слева от него. Он смотрел в глаза своему вождю. Он любил Хасана Саббаха и безгранично верил ему.

Хасан Саббах опустил голову. словно бы устал держать ее так, как полагается.

Вождь не торопился. Дело такое, что требовалось сугубое обдумывание. Лишнее слово к добру не приведет. Не до конца понятое предложение совсем ни к чему, оно внесет только путаницу. Нужна выдержка. Осмысление каждого слова. Оно должно войти в ухо слушающего и остаться в голове прочно, надолго. Ибо каждому необходимо руководствоваться этим словом в многотрудном и опасном деле.

Хасан Саббах повернул голову назад, насколько это было возможно, и принял из рук стоящего поодаль стража кинжал. Он поднял оружие высоко, чтобы все видели его, и торжественно провозгласил:

— Я передаю это произведение ширазских мастеров в руки уважаемого Зейд эбнэ Хашима. Он может и не принять его. Это будет равносильно отказу, и более ничего. Но ежели примет, мы решим, в кого он должен всадить его. В самое сердце. По самую рукоять. Вы меня поняли?

Молодой ассасин поднялся с места, принял кинжал, поцеловал его.

— Я направлю его куда следует, — решительно заявил Зейд...

Хасан Саббах словно бы не расслышал этих слов.

— А теперь, — сказал он, — согласно уговору решим, как быть дальше. Я бы хотел изложить образ наших действий. Хорошо?

Ему ответили хором: «Хорошо».

И Хасан Саббах обстоятельно изложил план. Продуманный до мельчайших подробностей. Зейд эбнэ Хашим не упустил ни одного слова, ибо кинжал был передан ему, а не кому-либо другому...



22

ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ТОМ, КАК ЭЛЬПИ УЗНАЕТ ТО,
ЧТО УЗНАЕТ

Светильник на небе нынче погашен, сверкают только звезды. Не горят медные светильники и в комнате, где, как всегда, господствуют сине-зеленые тона — по цвету неба, которое в широком окне.

Эльпи вся светится внутренним светом. Кожа ее бела и шелковиста. От нее пахнет тонкими багдадскими духами, ее волосы благоухают жасмином.

Омар Хайям говорит ей:

— Я должен сказать тебе нечто.

Она не хочет и слышать о чем-нибудь постороннем. Зачем говорить в такую ночь? Разве мало счастья? Разве мало сладости? Даже думать запрещено в такую ночь!

И Эльпи читает стихи на своем языке и переводит на арабский. Стихи про бессонную ночь, про любовь, про поцелуи и объятия. Такой полудетский лепет, недостойный потомков Сафо. Однако стихи глубоко трогают самую Эльпи. Она в упоении... Ночь, вино и любовь. Чего еще пожелать душе? Неужели и сию минуту размышлять о тайнах мироздания, которые не стоят и плевка?..

— Как ты сказала? — останавливает ее Омар Хайям, Эльпи весело повторяет:

— Все эти твои мироздания не стоят и плевка.

Хайям смеется: хорошо сказано. Как бы это не за-

быть? Конечно, Эльпи права: в такую ночь грешно думать о чем-то постороннем.

— Но я должен огорчить тебя. — Хаким вдруг переходит на сердитый тон. — Я это говорю серьезно...

Что хаким еще выдумывает?

— Слушай, господин, — просит Эльпи, — сделай мне больно. Только очень больно.

— Я не могу, — говорит он. — Я не могу, ибо должен огорчить тебя. Я не могу скрывать эту тайну.

Ну что ж, Эльпи готова ко всему.

Хаким отворачивается — ему немного стыдно. Он покашливает — не знает, как начать. Потом выдавливает из себя одно слово:

— Эльпи...

Она лежит неподвижно на мягкой и широкой постели. Она смотрит на небо, готовая слушать. А он все молчит.

И тогда Эльпи говорит тихо и неторопливо:

— Я знаю все. Ты изменил мне.

Хайям вздрагивает.

— Что ты сказала?

— Ты полюбил другую, — говорит она спокойно.

Он тоже смотрит на небо, на котором звезд не счесть. Неужели он трус? Начинает ненавидеть себя? Разве мужчина — трус? Разве тот, кто бесстрашно устремляет свой взор в глубину вселенной, — трус? Разве тот, кто знает цену жизни и цену смерти, — трус?

— Можешь не отвечать, — говорит Эльпи. — Я догадываюсь. Я это почувствовала неделю назад. У твоих губ был другой вкус. Они целовали не так, как раньше. Это было неделю назад.

Он хранил молчание.

— Скажи, что я не права. — Эльпи холодна и по-прежнему спокойна. Даже слишком спокойна.

Хайям хотел было раскрыть рот, но губы не повиновались ему.

— Скажи, что я солгала! — приказала она,

И он сказал ей:

— Нет, ты права.

Хайям лег на спину, подложил себе руки под голову вместо подушки и стал говорить так, точно обращался к звездам, а не к Эльпи.

Точно, во всех подробностях, стараясь ничего не упустить, будто находя в этом особое удовольствие, начал он рассказывать о том жарком дне, о прохладных струях Заендерунда, о зеленой лужайке и юной Айше. И эта скатерть, словно снег с Эльбурских гор, вино и шербет, зелень и мясо, и часы душевного наслаждения, которым не было конца... Это были часы любви — подлинной, естественной, волновавшей сердце и ум. Вокруг никого!.. Только Заендерунд!..

Вдруг он оборвал свои воспоминания и прислушался: но все тихо, и хоровод светил совершенно беззвучен. А пенie цикада лишь подчеркивало тишину,

Она сказала глухо:

— Дальше...

Он повернулся к ней: она лежала пластом и тяжело дышала. Она дышала так, словно пробежала целый фарсанг, не меньше!

Повторила:

— Дальше...

Он увидел ее губы и жемчуга меж ними. Он увидел ее соски, направленные в небо. И живот ее светился особым светом: фосфоресцировал зеленоватым, матовым огнем. И пупок, черную точку посредине зеленоватого живота, увидел он...

— Дальше, — попросила она. Схватила, точно добычу свою, его за плечи и просила: — Дальше... Я прошу, — умоляла Эльпи. — Говори же! Ничего не скрывай...

Он приложил руку к своему лбу: на нем испарина.

Сердце готово выскочить наружу — ему тесно в грудной клетке, словно птице.

— Зачем? — удивленно спрашивает он.

Но она требует, просит, умоляет. Она готова раствориться в нем. И эта молодая женщина предстает в совершенно новом облике, и удивление его растет от минуты к минуте. Но еще быстрее захлестывает его жар.

И тогда, не отдавая себе ясного в том отчета, Хайям начинает рассказывать Эльпи об Айше и достархане у Заендерунда. Более того: многое придумывает, давая волю фантазии.

Эльпи безудержно толкает его на эту фантазию. В необычайном иступлении обвивая шею его, подобно сладострастной змее, она выспрашивает.

Целовал ли он ее? Да, целовал. Айше отвечала тем же? Да, отвечала. Искусна ли Айше в любви?

Хаким уверял, что до грубой страсти дело не дошло. А Эльпи не верит.

— Вы дождались темноты?.. — спрашивает Эльпи.

— Нет, было совсем светло. Был день...

— Послушай, — говорит Эльпи и резко привстает: — Ты приведи ее сюда...

— Зачем? — со стоном осведомляется он.

— Я хочу посмотреть на нее... Мне будет приятно... Я совсем, совсем не буду ревновать...

Он обещает.

А потом Эльпи долго лежит обессиленная, лишенная дара речи. Лежит с закрытыми глазами. И едва выговаривает:

— Вина...

Он неуверенно шарит руками: где этот кувшин, где эти чаши? С трудом находит их, потому что на глазах у него пелена.

Понемногу зрение возвращается к нему. Звезды, ока-

зывается, светят. Кусок сине-зеленого неба служит неверным светильником.

И Эльпи жадно пьет. И, выпив, вздыхает сладко:

— Вот теперь я живая...

И она читает на память некую греческую оду мужчине. Оду, которую некогда пели вакханки где-нибудь в Милете или на Кипре — в этих полуазиатских, полувосточных уголках. Потом она нескладно переводит на арабский. И вдруг в упор спрашивает:

— Айше лучше меня? Сознайся, красивее?

Он не желает кривить душой. Он честен. Неверен, но честен. Что значит — красивее, лучше?

Омар Хайям никогда не любил только ради утolenия похоти. Это недостойно человека. А если это настоящая любовь, она не может быть «лучше» или «хуже». Любовь есть любовь! Это нечто данное свыше, нечто ниспосланное аллахом...

Эльпи ловит каждое его слово. И соглашается:

— Наверное, так... Я это поняла у тебя и с тобой. А раньше казалось, что это не так. Разве любовь не есть товар, такой же, как тюки хлопка или кусок золота? Разве нельзя ее продать или купить? Я и сама знала, что можно. Но ты, господин, научил еще кое-чему. Ты сделал меня своей рабой. Это прекрасное рабство...

Хаким растроган этим признанием. На радостях пьет чашу. Если угодно, он прочтет ей стихи про любовь. Но только на фарси*. Она понимает что-либо в фарси?

— Неважно, — говорит Эльпи. — Я хочу слышать твой голос.

И Омар Хайям начинает читать. Нараспев. Совсем как поэты в Ширазе. Но для него важна не музыка, а

* Фарси — общий литературный язык персов, таджиков и других ираноязычных народов средневековья.

самый смысл. И он читает скорее для себя, а не для Эльпи. Ему сегодня нужна поэзия. Сегодня он особенно чувствует неразрывную связь с нею. Что было бы, если б не стихи? Тогда, может быть, аллах придумал бы еще что-нибудь такое же прекрасное? И надоумил бы человека жить тем, что было бы равносильно поэзии?

Он читал долго. Увлеченно. Низким голосом. Негромко. Как будто бы задушевно беседуя. Но с кем? Разве Эльпи способна оценить сочетания слов, подчас имеющих не один, а два смысла? Подчас намекающих, на что-то незаметно указующих.

Этот во многом скрытный господин как бы преобразуется, читая стихи. Весьма возможно, что даже свои стихи... И когда Омар Хайям прерывает чтение, чтобы глотнуть вина, Эльпи осторожно задает вопрос:

— Это не твои стихи?

Он отвечает уклончиво в том смысле, что любителей писать стихи очень много. И что он, хаким, часто путает свои с чужими. И тихо смеется...

— Но ты любишь стихи. Признайся.

— Люблю.

— Больше своих звезд?

Он в затруднении. Как всегда, он желает быть предельно откровенным, если это возможно. Здесь не дворец и не базар, где тебя могут подслушать чужие, недоброжелательные уши... Поэтому возможно. И он говорит:

— Как тебе сказать, Эльпи? Звезды — это моя работа, моя жизнь. Я бы умер без них. Но умер бы еще раньше без стихов. Они тоже жизнь. Ты меня понимаешь? Вот мы едим хлеб. Мы пьем воду или вино, иногда шербет. Это тоже — не правда ли? — жизнь. Так и стихи. Человек не может без них. Можно представить себе жизнь без Фирдоуси? Думаю, что нет, нельзя! Вместе с возду-

хом, которым дышит человек, он впитывает в себя и поэзию. Вот ты могла бы прожить без поэтов?

— Могла бы! — задорно отвечает Эльпи.

Он мягко зажимает ей рот. И говорит:

— Помолчи, Эльпи. Не произноси слово, прежде чем не подумала. Нет, нельзя без Фирдоуси жить! Поэзия и жизнь — это одно целое.

— Возможно, — соглашается Эльпи, поднимая ногу и направляя ее к небу. — Так же, как эти звезды?

— Прекрасная указка, — восхищается Омар Хайям. И покрывает неторопливыми, горячими поцелуями ее ногу...

— Можно ли жить без женщин? — спрашивает он и отвечает. — Нет, нельзя. Можно ли жить без поэзии? Нет, нельзя. Говоря о человеке, мы не можем расчленивать его без того, чтобы не умертвить его. То есть нельзя у человека оторвать голову или вынуть сердце. Ибо нет без них жизни! Лишить человека поэзии — значит лишить его души.

— Наверное, это так, — говорит Эльпи. — Тебе это лучше знать.

— Я ставлю знак равенства, — продолжает хаким, — между любовью и хлебом, между любовью и вином, между любовью и воздухом. Правда, зверь живет и без поэзии... Ему достаточно куска мяса и глотка воды. А человеку?

— Это для меня сложно, — лениво произносит Эльпи. — Но я привыкаю к тому, что ты во всем прав. Если даже ты продашь меня кому-нибудь или уступишь другому, то и тогда я не обижусь на тебя. Ибо ты прав во всем. Я хочу, чтобы ты не был обременен моей любовью. Любовь всегда приятна, если она легка, однако тяжесть ее невыносима.

— Ты так думаешь?

— А ты?

— Мне кажется, Эльпи, что истинная любовь всегда легка. Она живет вместе с тобою, она рядом, она в тебе, во всем твоём существе. Подобно поэзии.

Она нежно гладит его бороду. Потом проводит ладонью по его лбу, который горяч, как камень на солнце.

За окнами брезжит рассвет. Небо принимает желтоватую окраску. Звезды блекнут на его фоне. Скоро совсем погаснут. Но тут же загораются другие звезды: ее глаза. И выбор приходит сам собою: свет двух этих звезд неотвратим...



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ТОМ, ПОЧЕМУ ОМАР ХАЙЯМ
ОБЕСПОКОЕН СУДЬБОЮ
КАЛЕНДАРЯ «ДЖАЛАЛИ»

Да будет известно, что после одной из бесед с его превосходительством главным визирем, касавшейся астрологических предсказаний, хаким Омар Хайям попросил разрешения задать вопрос. Главный визирь Низам ал-Мулк сказал:

— Спрашивай, уважаемый хаким.

Беседа проходила в саду. Визирь сидел на мраморной скамье перед бассейном с чистой, как слеза, водою. А хаким Омар Хайям был совсем рядом, и скамьей служила ему сплетенная из камыша треножка, легкая для переноса и приятная для отдыха на тенистой дорожке или под деревом.

В саду стаями летали зеленые попугайчики и пели песни некие пичужки, населявшие густолистые кроны деревьев.

— Я слушаю тебя, — сказал визирь, — и говори смело, ибо здесь, кроме этих птиц и нас с тобою, ни души.

— Это не секрет, и скрывать мне нечего, — ответил Омар Хайям.

Визирь поглядел на небо, улыбнулся и проговорил:

— Положим, уважаемый хаким... Почему бы в таком случае не подарить мне в знак дружбы твои рубай?

Хаким не сразу ответил визирю. Более того, будучи формально астрологом его величества, он мог уклониться

от этих своих обязанностей только благодаря заступничеству главного визиря. Именно Низам Ал-Мулк, и только он, всегда выступал перед султаном в защиту хакима, когда его величество выказывал недовольство астрологом. Однажды султан сказал:

«Клянусь аллахом, астролог испытывает наше терпение. Я ценю его предсказания — тем больше, казалось бы, должно быть его рвение».

На что Низам ал-Мулк ответил:

«Это верно, твое величество. Но если кого и надо бранить за нерадивость уважаемого хакима, то только меня».

«Почему же тебя?» — удивился султан, чье полное имя было Джалал-ад-Дин Малик-шах.

«Я разрешил ему, полагая, что ты не будешь разгневан этим, больше внимания уделять составлению календаря, называемого в твою честь «Джалали».

«Ах да, — вспомнил султан, — ты мне говорил об этом календаре. Где же этот календарь?»

«Вместе с астрономическими таблицами он будет преподнесен тебе».

Султан нахмурился:

«И мы должны будем жить по новому календарю?»

«Да, — ответил визирь. — Ибо он точен, ибо он нов и более приличествует твоему правлению».

«А что скажут они?» — султан указал на дверь, но при этом имел он в виду врагов своих.

«Они будут твердить заученное, — сказал визирь, — независимо от того, появится ли у нас новый календарь или время будет отсчитываться по старому».

«Надо подумать», — сказал султан.

Главный визирь приложил правую руку к сердцу и склонил голову.

Разговор о календаре между султаном и его главным визирем состоялся давно, но с тех пор мало что изме-

нилось. Хаким Омар Хайям и его сотрудники вносили в календарь все новые и новые изменения и уточнения и жили надеждой, что рано или поздно султан потребует их к себе...

Что нового мог сказать хакиму главный визирь?

— Я полагаю, — заметил он, — что астрологу его величества положено хотя бы время от времени показываться на глаза своему господину.

— Ты имеешь в виду его величество?

— Да, — сказал визирь. — Он господин наш.

Хаким встал.

— Твое превосходительство, — сказал он тихо, — ты знаешь мое мнение об астрологии. Каким бы удачливым я ни казался в этой области, судьба человека — любого! — решается здесь, на земле, а не в небесах. Я клянусь тебе в этом и даю голову на отсечение, если это не так!

Низам ал-Мулк смотрел на воду, которая время от времени слегка морщиניתся под дуновением ветерка.

— Светила движутся вокруг Земли, — продолжал горячо хаким, — согласно законам природы...

Это последнее слово резануло слух его превосходительства. Он скривил рот, почесал правый висок.

— Природы? — недовольно произнес он. — А что ты оставляешь аллаху?

— Очень многое, твое превосходительство: сотворение мира, всего сущего. И это так! Только так! Разве этого мало?

— Мало, — сказал визирь. — И Газзали доказывает это.

— Твое превосходительство... — хаким сжал кулак и . — Это имя вызывает во мне глубокое возмущение. Нет ничего легче, чем взять в руки священную Книгу и обвинять всех в невежестве и отступничестве от нее. Но книга, как бы ни была она священна, остается книгой, а жизнь идет особым чередом, подчиняясь особым законам.

— Мало оставляешь аллаху, — упрямо повторил визирь. — Газзали все время твердит об этом.

— Я еще раз говорю: нет ничего легче этого. И голова у такого рода ученого никогда не болит. Самое большое, на что он способен, — это трясти бородою...

Визирь любовался водою, но не пропускал мимо ушей ни единого слова хакима.

— А теперь скажи откровенно, твое превосходительство: сколько их трясло бородами и ушло из этого мира, так ничего и не доказав, но зато причинив немалый вред?

— Я понимаю тебя так, уважаемый хахим: аллах сотворил мир, а мир этот живет с тех пор по своим законам...

— Законам природы, — дополнил хахим.

— Скажем так... Но что же теперь остается делать аллаху?

Визирь спрашивал серьезно. Ибо на этот счет был другого мнения, чем хахим. Может быть, этот Газзали в чем-то перехлестывает, может быть, Газзали требует расправы, что не подобает ученому, истинному ученому? Разве не писал Газзали письма его величеству, всячески понося Омара Хайяма и требуя смести с лица земли рассадницу всяческой ереси — исфаханскую обсерваторию? И он добился бы своего, если бы не главный визирь. Ибо Газзали не один. У него тысячи последователей и единомышленников. В этих обстоятельствах требуется большая осмотрительность, большое умение, чтобы не сказать ловкость.

— Твое превосходительство... — Хайям садится на свою плетенку. — Я это могу сказать только тебе и никому больше. Только просвещенный ум способен поверить словам, которые я сейчас выскажу. — Хахим сделал паузу. — Я каждую ночь — или почти каждую — изучаю небо. Я залетаю взглядом до самых высот хрустального свода. И я прихожу к выводу, изучив вращение Солнца и Луны вокруг Земли и вращение Земли вокруг своей

оси, к одному выводу: нет единого закона природы, но есть множество, и один гармонично вытекает из другого. Один есть следствие другого. Я в этом нахожу подтверждение великим мыслям моего учителя Абу-Али Ибн Сины. Он, и только он, говорил правду, а я всего лишь подтверждаю его слова делами науки.

— Газзали обвиняет тебя в богохульстве...

— Не только.

— В отрицании всяких деяний аллаха.

— Это неправда! Он врет.

— Газзали вопит: мир в опасности, Омар Хайям уходит нас к безбожию!

— Это неправда, — возразил хахим. — Я говорю, я утверждаю: мир создан аллахом.

— А дальше?

— Аллах сделал великое дело...

Его превосходительство прочитал некие стихи. Наизусть. Стихи о том, что аллах создал землю, небо, моря; аллах сотворил человека, дал ему дыхание; и тот же аллах создал невероятное — смерть. Зачем? Чтоб погубить свое же творение? Разве умный так поступает?..

Прочитал стихи визирь и посмотрел в глаза хакому. Он ждал, что скажет Омар Хайям.

— Твои? — строго спросил визирь.

Омар Хайям молчал.

— Я спрашиваю тебя, уважаемый хахим.

Омар Хайям вздохнул. И сказал, вздыхая, словно бы сожалея о чем-то:

— Да, мои, твое превосходительство.

— Ты их давал кому-нибудь?

— Нет.

— А как же они попали ко мне?

— Я этого не ведаю.

— Я никому не поручал добывать их.

— Значит, принесли тебе мои недруги.

— Их прислал сам Газзали.

— Стихи пишу только для себя, — сказал хаким. — Глупо писать стихи после великого Фирдоуси.

— Понимаю твою скромность. — Его превосходительство говорил озабоченно и доброжелательно. — Твои враги, уважаемый хаким, не дремлют. Они жаждут твоей крови. Ты это знаешь?

— Да?

— Зачем же ты даешь им в руки оружие, которое они обращают против тебя?

— Это получается против моей воли. — Хаким добавил: — Как и у тебя, твое превосходительство.

Визирь вздрогнул, словно услышал нечто удивительное. Он скрестил руки и грозно спросил:

— А как это получается у меня?!

— Не знаю. Но врагов у тебя еще больше, чем у меня. И они тоже жаждут твоей крови. Я это не раз говорил и хочу, чтобы ты долго, долго жил, долго здравствовал здесь, у трона. Это великое благо для нас.

Визирь, вспыхнув, быстро успокоился. Подергал себя за бороду. Покашлял, будто у него вдруг запершило в горле. И сказал ровным голосом, как о деле давно известном:

— Это верно: врагов у меня много! Увы, против моей воли. Но отступить нельзя! Если хочешь руководить большим государством, всегда приходится рисковать. Над нами его величество, а над ним сам аллах. На нас устремлены острые взоры того и другого. А еще глядят на нас тысячи глаз наших подданных. Есть среди них люди благоразумные, но есть и разбойники. Вроде Хасана Саббаха. Он спит и видит меня в могиле. Однако руки у него коротки. Он слишком бешеный, и в этом наше счастье. Кто может поверить его бредовым речам? Кто?!

Хаким решил, что в данном случае благоразумнее промолчать. А как с календарем? Вот к календарю и надо повернуть разговор...

Его превосходительство признал, что не всем нравятся его действия. Не все довольны правлением его величества. А все ли довольны учением Мухаммеда? Разве все почитают его должным образом? Разве полностью искренены семена безбожия и ереси?

Стая зеленых попугайчиков вдруг разом взлетела с большой зеленой ветки и, покружив над садом, уселась на соседнее дерево. Попугайчиков было множество, и они произвели большой шум своими небольшим крыльями и резкими голосами.

Визирь удивился, прекратил свою речь и спросил хакима:

— Можно подумать, что птицы эти взлетели сговорившись. Но мы не слышали голоса их предводителя. Ведь должен быть у них предводитель? А?

Хаким сказал, что, вполне возможно, кто-то и подает им знак, но кто? И каким образом? Голосом? Взмахом крыла? Или еще каким-либо иным способом? Он признался, что специально не занимался этим, но что, если это интересует главного визиря, хаким попытается ответить на этот вопрос позже, после обдумывания.

Визирь махнул рукой:

— Не будем морочить себе голову повадками глупых птиц. У нас и без этого много дел и хлопот.

Тут было самое время вернуть словечко по поводу календаря. И это сделал хаким с большим умением и тактом. Он сказал, что много времени отнял у его превосходительства. Что время главного визиря расценивается на вес золота, что не надо лишними разговорами отвлекать его превосходительство от важных государственных дел. И что если он, хаким, посмел заговорить о календаре «Джалали», то только потому, что календарь и его введение в обиход представляется лично ему, хакиму, делом большой государственной важности. Да будет известно милостивому и большого ума визирю, что кален-

дарь «Джалали» давно составлен и неоднократно выверен. Попутно, точнее одновременно, составлены астрономические таблицы и проверены многие данные о светилах, дошедшие от древних, в частности от Птолемея. Календарь «Джалали» очень и очень точен. Дело заключается в измерении промежутка от одного весеннего равноденствия до другого, с тем чтобы календарь по возможности устранял неточности. За тридцать три года — это промежуток времени — должно быть четыре високосных года через каждые семь лет и один високосный год через пять лет. При таком чередовании лет получается ничтожно малая разница, скажем в восемнадцать-двадцать секунд.

— Секунд? — спросил визирь.

— Да, твое превосходительство.

— И такая точность, по-твоему, необходима?

Хаким ответил:

— Его величество распорядился составить точный календарь. И мы не могли послушаться его. Мы не могли подвести нашего великого покровителя, каким являешься ты, твое превосходительство.

Визирь снова залюбовался чистой водой бассейна. Гладкое дно просвечивало со всеми малейшими подробностями сквозь пятилопастевую толщу воды. Бассейн манил к себе. И он был целебным и спасительным в пору зноя...

— Хорошо, — сказал визирь. — Я поговорю с его величеством, я посоветую ему ускорить введение нового календаря. Ты его назвал «Джалали»?

— Да, твое превосходительство.

— Это хорошо, но ты должен представить, уважаемый хаким, некоторые трудности, с которыми будет связано введение календаря.

— Все трудности и пути их обхода в твоих руках.

— В его руках, — поправил визирь и указал на небо.

— Я слишком утомил тебя своими разговорами, — сказал хаким. — Я не смею больше...

Низам ал-Мулк, который был старше хакима чуть ли не на три десятилетия, выглядел прекрасно. Голова его была ясна, осанка вовсе не старческая, плечи крепкие, ноги выносливые. И хаким подумал, что много еще добрых дел суждено совершить его превосходительству.

Визирь встал, направился вместе с хакимом к другой, противоположной стороне бассейна. Шел он неторопливо, размеренным шагом, о чем-то думая. Визирь подвел хакима к самому краю бассейна.

— Ты видишь дно? — спросил он.

— Да, вижу.

— Оно чистое?

— Вполне.

— А толщина воды какова? Светлая?

— Очень светлая, твое превосходительство.

— А теперь взгляни наверх.

Хаким запрокинул голову и увидел бирюзовое небо. Это был великолепный купол над Исфаханом, купол, какого и не вообразишь, если не запечатлелся он в твоих глазах хотя бы единожды.

— Ты видел это дно и любовался этим куполом. — Визирь указал на бассейн, а потом поднял руку вверх. Говорил он торжественно и чуть нараспев, как поэт. — Что тебе приходит в голову? О чем твоя мысль?

Хаким не сразу сообразил, чего от него ждут. Чтобы не смущать ученого, его превосходительство сам ответил за него:

— Первая мысль — о величии аллаха. Вторая мысль — о повседневной животворной силе его. И третья мысль — все от аллаха — и сегодня, и во веки веков!

Сказал и отпустил хакима.



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О НЕКИХ ЗАГОВОРЩИКАХ

Сегодня Хусейн находился в кругу своих истинных друзей. Сегодня, как ему казалось, мог дать полную волю своим словам и усладить слух своей правильными речами.

Началось с того, что неистовый Хусейн заявил, как и там, у Али эбнэ Хасана, что намерен убить подлого совратителя хакима Омара эбнэ Ибрахима. Того самого, который ведает обсерваторией, что за рекою Заендерунд, и который, по слухам, является надимом его величества.

Наверное, это небольшое сборище можно было бы назвать шайкой. Однако все дело в том, что цели, которые ставились и обсуждались здесь, нравились кой-кому. Поэтому слово «шайка» не совсем точно в данном случае. Эти молодые люди представляли собою самое крайнее крыло исмаилитов. Были они особенно нетерпеливы и беспощадны. Даже сам Хасан Саббах осуждал таких.

Когда Хусейн произнес имя хакима, хмурый волосатый молодой человек по кличке Тыква спросил:

— За что ты хочешь наказать его?

— Он отбил у меня любимую. Купил. Любимую Эльпи. Румийку.

У Тыквы была большая голова и брови нависали над глазами, словно козырек над входной дверью, и глаза

были округлы и хищны, как у филина. А лицом был рыж и угрист. Он криво усмехнулся.

— А как же еще отбивают женщин? Ясно же — деньгами.

— Нет, — возразил Хусейн, — не просто мощной, а нагло, хорошо зная, что она моя.

— Если твоя, бери ее, — резонно посоветовал Тыква.

— Это не так-то просто, — сказал Хусейн.

— Почему?

— Потому что хаким держит ее на запоре.

Двое головорезов по кличке Пловец и Птицелов подержали Хусейна: уж очень не терпелось им перерезать кому-нибудь горло. А вот Джафар эбнэ Джафар, не желавший скрываться под кличкой, сказал, что есть у него свое особое мнение. Это был сухощавый молодой человек. Глаза у него навывкате. Лоб не по годам морщинист. Приплюснутый нос и большие жилистые руки со вздутыми венами.

Он сказал, что противно слушать слова Хусейна. Про какую-то там шлюху и ее престарелого любовника. На протестующий жест меджуна он ответил испепеляющим взглядом. «Это еще что?! — говорил его взгляд. — Что за благоглупости в это тревожное время? Разве перевелись женщины? Разве свет сошелся клином на какой-то Эльпи? Затевать глупую ссору из-за румийки? Да пусть будет даже ихняя богиня!»

— Не будем морочить друг другу голову, — хрипло произнес Джафар эбнэ Джафар. — Лучше займемся настоящим делом.

Его отец был великолепным чеканщиком. Да и сам Джафар неплохо чеканил по меди и железу. Но больше помогал отцу. Самому было недосуг — его занимало кое-что поважнее. Его знали в тайных кругах исфаханских исмаилитов как человека крайних действий. Поэтому можно было понять Джафара эбнэ Джафара, когда он осадил

меджнуна. Что такое меджнун в его глазах? Недотепа, несмышлениш, кобель. Вот кто меджнун! И он все это высказал в самой резкой форме Хусейну и своим друзьям.

Джафар вытащил из-за пояса кривой дамасский нож и всадил его в земляной пол. По рукоять.

— Тот, кто разгласит наши разговоры, получит этот нож. По самую рукоятку, — мрачно заявил он.

Впрочем, это была обычная угроза исмаилитов на их сходках. Надо отдать должное: свое слово они держали. Будь это брат их или отец, приговор приводился в исполнение. Таким образом поддерживалась дисциплина в их немногочисленных рядах и обеспечивалась сохранность тайны. Соглядатаи Малик-шаха и его главного визиря не всегда улавливали подспудные действия исмаилитов, и слухи об их коварстве и жестокостях вызывали недоверие. Между тем все шло своим чередом: исмаилиты тайно собирались, тайно обсуждали свои действия, тайно грозили султану и его главному визирю.

Джафар эбнэ Джафар обратился к Хусейну с таким вопросом:

— Что сейчас самое главное в твоей жизни?

— Эльпи, — не задумываясь, ответил тот.

Джафар сделался мрачнее тучи.

— Тыква, вразуми его, — сказал он.

Тыква проблеял несколько слов насчет того, что любовь в такое, как нынешнее, время только помеха. У него был тонкий голос, и говорил он нараспев, опасаясь, чтобы легкое заикание, которое порою возникало у него, не вызвало смех.

— Можно подумать, — говорил Тыква, — что одна румийка, какая бы раскрасавица ни была она, заменит тебе солнце и луну. Но это совсем не так! Слышишь, Хусейн? Давай доведем свои замыслы до конца, и тогда не только румийка, но и весь Кипр будут ползать у твоих ног. Слышишь, Хусейн?

А Хусейн сделался как чурбан: сидит не дышит, не шевелит ни единым пальцем, застыл как неживой. Он, наверное, не ожидал такого приема у друзей. Он к ним со своими горестями, а они окатили холодной водой. Плюнуть на все и удалиться? Но как жить без друзей, с которыми обменялся клятвой и каплями крови?

— Поймите, я вроде бы убитый, — пробормотал Хусейн. — И от чьих рук? От руки этого ученого звездочета. Он издевается над нею и надо мною, у меня уйма друзей, а я, значит, вытираю мокрые глаза и остаюсь с позором? Так, что ли?

Тыква и Пловец хотели было успокоить его, но Джафар эбнэ Джафар с присущей ему прямоотой сказал:

— Да, да! Просто-напросто утираешься. Рукавом. Как после плевка. Это тебе понятно?

Хусейн скорбно молчал.

— Если непонятно, — продолжал Джафар, — слушай меня. И запоминай каждое слово. А эту шлюху выкинь из головы. Мы в этом поможем.

Пловец и Тыква согласно закивали головами.

— Значит, так...

Джафар прислушался: все ли спокойно? Поманил своих друзей поближе к себе, а нож воткнул еще глубже, на самую малость, ибо он и так уже вонзился по рукоятку.

— Он... — Джафар поднял указательный палец кверху, — он сказал, что время действовать. Может, этой ночью, а может...

— Действовать кому? — спросил Хусейн, все еще пребывая в подавленном состоянии.

— И тебе тоже! — рявкнул Джафар. — Проснись, Хусейн! Ты понял меня?

Хусейн горестно вздохнул. Он сделал вид, что понял все. А на самом деле перед его глазами как живая стояла Эльпи. Он видел только ее, а голос Джафара доносился откуда-то издалека.

Джафар схватился за голову, словно опасался, что она вот-вот лопнет. И, раскачиваясь из стороны в сторону, говорил:

— Жизнь наша подходит к черте. Шла она по одному руслу, а теперь пойдет по другому. Что сказано в священной книге? «Он — тот, кто сотворил небеса и землю в истине; в тот день Он скажет: «Будь! и оно бывает». Вы слышите меня?

Да, друзья слышали. Даже Хусейн. Особенно понравилось ему слово «будь!». И он выпрямился, сутулость его пропала, он взял чашу и выпил вина и запил водою. «Будь!» Он посмотрел на нож, глубоко сидящий в земле, и кое-что отметил про себя. Ведь подобный нож может пребывать не только в земле. Есть место и в груди. В чьей-нибудь отвратительной груди!

А между тем Джафар эбнэ Джафар, глубоко убежденный в своих словах, говорил далее:

— В каждом из нас течет кровь, и каждый из нас есть сын своей земли. И над нами — сила священной книги. Но не та сила, которую пытаются изобразить суннитские муфтии, а сила истинная, которая правит всеми нами и руководит нашими помыслами. Разве свобода не есть порождение учения пророков? Разве Исмаил жил не для того, чтобы сказать нам словами аллаха: «Будь!» Это не простое слово!.. Хусейн, о чем ты думаешь?

— О слове «будь!» — не солгав, сказал Хусейн.

— Прекрасно! — И Джафар продолжал свое: — Я говорил с ним. Я имею в виду вождя нашего. Его беседа была столь же живительна, сколь мила вода Заендерунда для пустынной земли Исфахана. Он спросил: «Нет ли колебаний в рядах ваших?» И я ответил: нет! Потому что это так. Или, может, я ошибаюсь?

Пловец сказал грубым голосом землекопа, грубым голосом человека, которого родила земля:

— Нет, ты не ошибаешься. И он не ошибается. У меня спрятано десять ножей из дамасской стали. Я наточил кинжал, который ковали в Ширазе. Есть и исфаханские клинки. Они не уступают дамасским! Это говорю я! Когда протрубит труба, я буду готов. Со мною будут многие. Мы ждем только слова аллаха. Мы ждем этого «будь!».

А потом они мирно ели ломти тонкого хлеба и запивали вином и водою. А потом еще долго молчали. А у бедного меджуна все кипело в груди. Как в казане, поставленном на жаркий огонь. Он сказал себе, что будет ждать этого сигнала: «Будь!» Он дождется его. И сделает по слову этому...

Джафар эбнэ Джафар перешел далее к спокойному, но строгому суждению.

Его родители жили в горах Эльбурса, они были далеко и высоко. Только он один, отщепенец в роду, отбился от рук, уехал из родных мест и посвятил себя священной борьбе за дело святого Исмаила. Ибо оно казалось ему главным в жизни. И не только своей, но и в жизни всех людей на свете. Это же ясно: что самое важное? Свобода. Что более всего необходимо человеку? Земля. Чего жаждет всю жизнь крестьянин в пустыне? Воды. Каким же образом можно добиться этого? Через покорность? Покорясь аллаху и господину, Мухаммеду и султану с его визириями? Как бы не так! Что завещал Исмаил?..

Друзья молча слушают Джафара эбнэ Джафара. Почтительно. Не перебивая. Усваивая все сказанное им. Хотя все это не раз слышали от Джафара и от других фанатиков-исмаилитов.

— Вот ты, — обращается Джафар к Хусейну, — души не чаешь в этой шлюхе. Аллах с тобой! Люби кого хочешь! Тебе никто не мешает. Но вот что: ты полюбил ее, она — тебя, а вместе вы рабы, живущие безо всякого prospects в жизни. Ты понял?

— Да.

— Разве это жизнь? Разве это любовь?

— Нет, — отвечает Пловец вместо Хусейна.

— А теперь представь себе: ты вполне свободен, она вполне свободна. Тобой никто не помыкает. Ее никто не продает, как вещь. Ты можешь представить себе это?

— С трудом, — говорит Хусейн.

— А почему с трудом?

Хусейн не знает. Пловец тоже. И Тыква тоже. Разные бывают люди: одни соображают быстро, а другие тугодумы. Разве не так?

— Отчасти, — возражает Джафар. — Отчасти, потому что привыкли к рабской жизни. — И он поочередно тычет пальцем в грудь каждого из своих друзей.

Пловец молчит. А Тыква согласно кивает головою. Что же до Хусейна, тот не может ответить на это однозначно, то есть словами «да» или «нет».

Разъяренный Джафар вскакивает с места. И грозитя кулаками.

— Вы истинные рабы! — орет он в неистовстве. — Потому что даже здесь не смеее открыто признаться в этом. А чего, собственно, боитесь? Доноса? Но кто из нас донесет? Неужели я? Неужели Тыква? Или ты, Пловец? Или сумасшедший меджнун? Кто? Я спрашиваю?

Хусейн говорит:

— Надо разобраться. Я, к примеру, посылаю к шайтану любого, кто вознамерится понукать мною. Я не разрешу, слышите?

Джафар хохочет. И хохоча говорит:

— Несчастный, ты раб давно! Давным-давно! От рождения. И незачем скрывать это. Ты раб не только султана, но и своей собственной страсти. Ради пары спелых грудей ты готов забыть о своем рабстве. Да, да, да! И не смей возражать!

Джафар стоит изогнувшийся, точно тигр перед прыжком. А на кого, собственно, прыгать, кого разрывать на части? Своих собственных друзей?

Хусейн недовольно пожимает плечами и отламывает хлеб. Что спорить с этим одержимым? Ясно же, одержимый!

— А ты? — обращается Джафар к Пловцу. — Может, ты поговоришь с визирями? Расскажешь, как тяжело ловить рыбу в Заендерунде и кормить семью, а?

— Это верно, очень трудно.

— Ведь и слова не те! — зло говорит Джафар. — Слова должны жечь! А ты? Какие слова исторгают твои вялые уста? Какие?

Пловец пытается оправдаться:

— Я же говорю... То есть я не говорю, что волен жить как хочется. И голод к тому же... И всякое такое...

— По-моему, это называется нищенство.

— Может, и так.

— Дураки! — сердится Джафар. — Дураки! Вы ничему не научились. — Он нагибается, хватает чашу, пьет ее до дна. Потом выдергивает нож из земли, левой рукой подымает подушку, на которой сидел. — Смотрите! Вот этот негодяй. Вы знаете, кто он. Я даже не хочу называть его имя. Это противно! Мой язык не на помойке найден, чтобы произносить ненавистные имена! Одним словом, вот он!

Джафар высоко поднимает подушку, еще больше выкатывает глаза и вонзает нож в подушку. Джафар подкидывает подушку к потолку. И сыплется пух. Много пуха. Словно бы снег идет в горах Эльбурса.

— Видали? — злорадно вопрошает Джафар.

Разумеется, все видели. Это же нетрудно...

— Теперь вы поняли, что все это значит?

Молчание.

— Вот так, только так следует расправиться с теми, кто во дворце. Запомните это. Там, а не в обсерватории главные наши враги. И так, только так надо разговаривать с врагами!

Джафар садится на место. С него катится пот. Дышит тяжело. И кажется, вовсе не замечает пуха, который разносится по комнате.

— Я очень зол, — признается Джафар эбнэ Джафар. И ни на кого не глядит. Уткнулся взглядом в землю.

Хусейн вылавливает пух из наполненной чаши. Его примеру следуют Пловец и Тыква.

— Выпить, что ли? — улыбаясь, спрашивает Джафар, как будто ничего не случилось. И уже совсем успокоившись: — Все произойдет по писанию. Это слово, о котором я говорил, скоро прозвучит и достигнет ваших ушей. И тогда важно, чтобы вы не оплошали. — И обращаясь к Хусейну: — А потом ты найдешь возможность и время рассчитаться с любимой за ее неверность. Надо начинать с главного. Ты понял?

У Хусейна на уме только одно: «Эльпи, Эльпи, Эльпи...»

— Учтите, — предупреждает Джафар эбнэ Джафар, — кинжал имеет два лезвия. И оба они острые.

Что это значит? И друзья его переглядываются: не их ли касается угроза?



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ДЕРВИШЕ, КОТОРЫЙ ДЕРЖАЛ
РЕЧИ НА ИСФАХАНСКОМ БАЗАРЕ

- Я скажу вам нечто!..
— Нельзя ли потише?
— Я должен выразить словами то, что накипело на душе!..
— А зачем так кричать?
— Я не кричу. Я только желаю, чтобы слышали все.
— А мы не глухие.
— И поняли бы все!
— Мы не полоумные.
— И зарубили бы себе на носу!
— Ну уж это наглость...
— Я никого не боюсь!

Стоит дервиш * на исфаханском базаре посреди мясных рядов и потрясает руками. Он кривой на левый глаз. Одежда на нем изрядно потрепана, неопрятна. Держит в руке посох и горланит на весь базар.

Мясники — народ степенный и состоятельный. Потрошат себе баранов и не очень обращают внимание на дервиша-крикуна. Однако, как ни говори, народ есть народ: он любознателен, ему хочется послушать дервиша, если у того есть что сказать. А по всему видно, что есть: не станет же орать, если за пазухой пусто!

* Дервиш — нищенствующий мусульманский монах.

Иные мясники побросали работу, обступили дервиша. А один из них попытался урезонить наглеца. Только из этого ничего не получилось: стоит себе дервиш, чуть не рвет на себе волосы и продолжает привлекать к себе внимание выкриками и жестами.

Потом к мясникам присоединились зеленщики. Думают про себя: «Наверное, святой человек, надо бы его послушать».

А что случилось? На что глядеть? Как этот дервиш надрывает себе глотку? Или потрясает посохом в воздухе? Когда приезжает с Востока укротитель змей — это зрелище. Когда хаджи, побывавший в Мекке и Медине, рассказывает о разных чудесах — это успокоение для души. А что угодно этому дервишу? За то время, пока он орет, мог бы и поведать кое о чем...

Как ни говори, а на базаре в Исфахане — как на всяком базаре: падок народ на зрелища и всякие рассказы. А почему бы и нет, тем более если за это денег не просят...

Один из мясников, дюжий молодец с огромным ножом в руке, дергает дервиша за грязный рукав. Дервиш огрызается:

— Чего тебе?!

— Ежели ты хочешь говорить, говори, — ответил мясник. — Сколько же можно кричать?

— А ты кто такой? — взвизгивает дервиш.

— Али эбнэ Хасан. Вот мое имя!

— Ну и что ты этим хочешь сказать?

— Чтобы и ты назвался, кто ты есть.

— Не торопись. Все узнаешь. — Дервиш приосанивается. Бьет посохом землю. — А ты знаешь, что такое буря в пустыне?

— Положим, нет.

— Ты знаешь, что такое мороз в Туране?

— Скажем, нет.

— А ты ел падаль?

Мясник корчит гримасу и признается:

— Нет, не едал.

— А я все это знаю. Это все у меня здесь! — И дервиш трижды ударяет себя рукой по шее, да так сильно, что язык вываливается наружу.

Дервиш потрясает кулаками. Исступление вновь охватывает его! Но не очень понятно окружающим, что, собственно, приводит его в исступление и на кого обрушивает он свой гнев. А то, что он гневается, видно даже слепому: того и гляди полезет в драку. А разве так ведут себя благочестивые дервиши?

Мясник-верзила желает выяснить, что надо страннику. Он обращается к нему вежливо, даже с некоторой долей почтения, ибо дервиш чем-то взволнован.

— Святой человек, — говорит мясник, — почему ты так негодуешь? Не проще ли облегчить свою душу и рассказать нам то, что хочется тебе рассказать? Ежели, разумеется, мы того достойны.

Дервиш вытирает потное лицо подобием рукава, от которого остались одни суровые нити.

— Ничего особенного я не скажу, — ворчливо отвечает дервиш. — Дайте мне воды, и я кое-что сообщу.

Кто-то подает ему чашку с водой — дервиш даже не взглянул кто. И не поблагодарил. Потом уселся на корточки. Его окружили плотным кольцом: были тут мясники, и зеленщики, и всякий сброд, посещающий базар и охочий до диковинок.

— Я иду из самой Бухары, — начал дервиш. — Не всегда меня брали караванщики, и тогда я шел по пескам, поджариваемый точно грешник в аду. Я пил горькую воду. Я пил и чистую воду. Ячменная лепешка была для меня слишком вкусна. Я хотел видеть мир, каков он есть. И увидел, доложу я вам.

Ему подали еще воды, потому что чувствовалось, что в горле у него пересыхает. Не то от волнения, не то от зноя.

— И вот что я скажу: много добрых людей на свете. — Дервиш слова эти произнес громко, почти выкрикивая их. — Но скажу и другое: немало отпетых негодяев, готовых причинить тебе зло. Эти душегубы шныряют и в пустынях, и среди людей. Знайте же: это шакалы в образе человеческом!

Дервиш рассказал о прекрасных городах, которые в этом обширном государстве. Бухара и Самарканд — чистые жемчуга. И Хива не уступает им. Нишапур и Балх — чудо-оазисы человеческой мысли и бытия. Исфахан и Багдад многое потеряли бы, ежели б не с чем было их сравнивать. Аллах устроил мир соответственно: красивое рядом с красивым, уродливое рядом с уродливым. И жизнь познается в сравнении. И тогда приходят на память слова из священной книги: «Господи наш! Не уклоняй наши сердца после того, как Ты вывел нас на прямой путь, и дай нам от Тебя милость: ведь Ты поистине — податель!»

И жизнь построена так, как построена: аллах сделал все для этого, и мы, его песчинки, благодарим его, ибо он всемиловит, всевидящ и милосерд!

Дервиш продолжал:

— Вот идешь ты. Шагаешь фарсанг за фарсангом, и на каждом клочке — его печать: добрая и милосердная. И думаешь ты о мире его, как бы сотворенном для счастья и довольства. А между тем душегубы и разбойники на больших дорогах пытаются разрушить эту гармонию. Пройдите по дорогам, исполните завет аллаха, как он сказал в книге: «Странствуйте же по земле четыре месяца и знайте, что не ослабите аллаха и что аллах опозорит неверных!» Я испытал то, что испытал, и тяжесть этих испытаний у меня вот здесь!

Дервиш снова ударил себя изо всей силы по затылку, и язык у него снова вывалился наружу.

Слушающие его подивились силе слов его, и убежденности его, и оглушающему голосу. Но самое главное: смысл речей незнакомого дервиша оставался все еще темным. Непонятно было, к чему он клонит, в какую сторону его поведет. Будет ли это речь о смирении и долготерпении как лучших человеческих качествах, рожденных исламом, или же дервиш имеет сообщить нечто необычное, или же обвинит власть в терпимости к различного рода душегубам?..

Толпа все больше прибывала. И слова дервиша повторялись в задних рядах для тех, кто стоял еще дальше.

Дервиш кричал:

— Я повидал свет. Я видел мудрых змей в Индиях и людей, которые по месяцу лежат в могилах и выходят оттуда живыми. Я видел человека с двумя головами и на четырех ногах. Я жевал лист, от которого жизнь продлевается до окончания века. Я видел воду, горящую пламенем, и фонтан огня, бьющий из-под земли. Но я скажу одно: нет прекраснее страны, чем наша, и нет власти справедливее и могущественнее, чем та, которая дарована нам аллахом через его величество!

Люди немножко поразились. Они сказали про себя так: если ты решил хвалить власть, то зачем заламывать руки? Зачем испуленно орать на базаре? Кому не известно, что власть всегда хороша, что противники ее всегда душегубы? Для того чтобы прийти к такому выводу, к какому пришел дервиш, вовсе не надо собирать толпу на базаре. Такие речи можно смело произносить перед дворцом его величества.

Дервиш, как видно, почувствовал по движению толпы, что разочаровал ее. И тогда громогласно вопрошил:

— Что я этим хочу сказать?

Даже те, кто хотел выйти из плотного круга, остановились, решив подождать, что же воспоследует за сим вопросом, таким многообещающим по интонации?

— Слушайте же меня внимательно, — сказал дервиш, протягивая руку за новой чашей воды. — Я вижу все и знаю многое. Мои уши привыкли различать походку муравьев, которая у них не одинакова. Мои глаза видят, как наливается соком былинка в степи. Я слышу голоса ангелов. И я хочу предупредить, ибо топор занесен, ибо кривой нож наточен, ибо камень висит над нами, готовый раздавить нас.

Толпа зашумела. Сзади стали напирать, и дервиш оказался в столь тесном кругу, что начал задыхаться. Он потребовал жестом, чтобы расступились немного. На это ушло некоторое время. И еще некоторое. И только после всего этого дервиш продолжал свои речи.

— Знайте же, правоверные, истинно сказано в писании: «Тех, которые не веруют в знамение аллаха и избивают пророков без права, и избивают тех из людей, которые приказывают справедливость, обрадуй мучительным наказанием!» Так сказано в священной книге, и это справедливо стократ!

Дервиш достал из грязной сумки, висевшей у него на боку, несколько сушеных виноградин и сжевал их. И оживился. И стал кричать еще громче.

Мясник-верзила потребовал тишины, ибо в задних рядах зашумели.

Дервиш говорил:

— Что я видел в своих богоугодных путешествиях? Я уже говорил: процветающую землю и справедливость власти, данной аллахом его величеству. Порядок и справедливость, честность и благоразумие — вот что я видел. Что осталось от хаоса и душегубства прошлого? Почти ничего! Его превосходительство, наш благодетель главный визирь — да ниспошлет ему аллах долгу и сча-

стливую жизнь! — сделал все для того, чтобы правление его величества сложилось самым лучшим образом, чтобы хотение его величества претворялось в жизнь. — Дервиш передохнул. — Но все ли так, как того желают его величество и его превосходительство? Я спрашиваю вас: все ли так? — И замолчал.

Кто-то крикнул:

— Все гладко не бывает!

И еще кто-то:

— Только в раю все прекрасно!

Дервиш подхватил:

— Верно и справедливо сказано. Но что из этого следует? А вот что: можно ли терпеть душегубов, которые открыто промышляют на больших путях, на улицах городов и великолепных базарах?

— Нельзя! — сказал дюжий мясник.

— А что же делается, правоверные?! — дервиш снова потряс кулаками. — Вы только поглядите, правоверные! Некие головорезы, пренебрегая всеми наставлениями нашего великого пророка Мухаммеда, бесчинствуют в городах и на дорогах. Я видел их: они готовы залить мир кровью для того, чтобы властвовать над нами. А зачем? Разве плохая у нас власть? Разве не чувствуем мы ее благодати повсеместно и ежечасно? Зачем втайне точить ножи? Неужели для того, чтобы снова разбойничьи шайки разгуливали по пустыням и степям и грабили и убивали?

Толпа замерла. Вопрос, обращенный к ней, был довольно неприятный: зачем ставить под сомнение власть всемогущего султана и его визирей? Какая в этом надобность? Но любопытно все же, кого имеет в виду этот дервиш и почему, собственно, он избрал местом своих разглагольствований именно этот базар?

И кто-то выкрикнул из толпы:

— Сам-то ты кто и что думаешь об этом?

Дервиш злорадно улыбнулся и чуть не разорвал одежду на груди своей:

— Я ничтожество, которое служит аллаху. Я вошь на этой земле. Я пыль пустыни. Вот кто я! А теперь скажу, что думаю, скажу без иносказаний, как учили меня в детстве. Душегубы, о которых говорю, — и вы это прекрасно знаете сами! — асасины Хасана Саббаха. Это его наемные убийцы. Им ничего, кроме власти, не надо! И не думайте, что они очень уж чтут пророков. Это все рассказы для благодушных. Это сказки для малолетних, для несмышленишей. Можете мне поверить! У них нет жалости, они ненавидят лютой ненавистью его величество, всех его визирей. И если угодно, и нас с вами ненавидят.

В толпе началось покашливание. Кое-кто предпочел удалиться, чтобы быть подальше от греха: сейчас этот дервиш ругает асасинов, а потом его вдруг занесет совсем в другую сторону. Кому охота ввязываться в эти дела? Здесь наверняка присутствуют глаза и уши его величества, наверняка запомнят они всех, кто слушал странные речи о делах государственных... Вот почему надобно стоять подальше...

Между тем дервиш расходился вовсю: он клеймил жестоким проклятьем убийц, противников законной власти, превозносил мудрость его величества, заклинал всех, кто слышит его, чтобы проклинали асасинов и Хасана Саббаха...

— А ты их видел в глаза? — спросил дервиша мясник.

— Кого?

— Асасинов.

Дервиш расхохотался.

— Может быть, они за твоей спиной или перед тобой, — ответил дервиш. — Они, как вши, невидимы, но кусаются больно!

Мясник хотел было что-то возразить, но почел за благо промолчать.

— Ежели все, — продолжал дервиш, — ежели все вокруг повнимательнее осмотрятся, несомненно обнаружат присутствие ассинов, которых следует изловить и передать страже. Я слишком много перевидал их и знаю их душегубство.

Дервиш замолчал. И дал понять, что сказал все, что хотел. Люди начали разбредаться, втихомолку обсуждая между собою услышанное.

А сам дервиш?

Он постоял немного на месте, потом двинулся нетвердой походкой туда, где варили говяжью требуху: ему хотелось есть.

В пустынном уголке базара, куда дервиша занесла естественная нужда, подошел к нему некий господин. Он преградил дорогу.

— Я слышал твои слова. О них уже известно главному визирю, — так сказал этот неизвестный господин. — Его превосходительство повелел передать эти деньги тебе, дабы ты достойно утолил голод и жажду.

И с этими словами неизвестный передал дервишу горсть серебряных монет. Дервиш мгновенно прильнул к его руке и поцеловал ее долгим, благодарственным поцелуем.

— Добрый человек, приходи вечером к дому его превосходительства главного визиря, — сказал неизвестный, — спроси Османа эбнэ Абубакара. Это буду я. А там увидишь и услышишь то, что пожелает всемогущий аллах.

Дервиш поклонился и еще раз поцеловал дающую руку.

— Передай нашему великому господину, — сказал дервиш, — эти слова из Книги: «В Твоей руке — благо. Ты ведь над каждой вещью мощен!»

— Передам, — пообещал Осман эбнэ Абубакар и исчез в базарной сутолоке.

Дервиш поворотился вправо и влево, осмотрелся и убедился в том, что нет поблизости свидетелей. И снова продолжил было путь, влекомый запахами требухи и жареного мяса. Но теперь он несколько изменил свое намерение, направив стопы в харчевню, где мясо и рис, где соленая рыба и фисташки, где подают настоящее масло из орехов.

Он шел, все еще горбясь и слегка стеная, как бы неся на своих плечах груз годов и тяжесть нелегкой судьбы. И борода его, такая белая и тонкая, покачивалась в такт шагам.

А кругом шумел базар. Мясники расхваливали почечные части баранов, призывали покупать дешевую говяжью требуху, зеленщики потрясали пучками изумрудных трав, мятных, острых, горьких, южане хвалили орехи, и соленую рыбу, и прочую диковинную снедь, добытую в океане.

Дервиш постоял немного на пороге харчевни, словно бы не решаясь войти, а на самом деле пытаясь выяснить, кто находится здесь: кто ест, кто блаженствует после сытного обеда, а кто незаметно наблюдает за посетителями.

Как бы искусно ни маскировался дервиш, в нем все-таки можно было признать асассина Зейда эбнэ Хашима, которого мы уже встречали в крепости Аламут у господина Хасана Саббаха.



26

ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О СНЕ, КОТОРЫЙ ПРИВИДЕЛСЯ
ОМАРУ ХАЙЯМУ

Это был сладкий сон. Как говорят в Хорасане, сладкий, как шербет. И пьянящий, как вино, сваренное на египетском сахаре. Вот какой это был сон!

Великий учитель Ибн Сина, говорят, утверждал в одной беседе с приближенными туранского хакана *, что сон, приснившийся человеку, есть отражение яви, которая была или которая будет. То есть сон или сбывается (случается такое), или служит напоминанием о прошлых событиях. В последнем случае сон может быть также и предзнаменованием. Учитель говорил, что сон присущ людям, и чем они просвещеннее, тем более удивительными бывают сны. Вещи сны явление обычное, если только хорошо разобрать в них.

Но кто скажет, какой мудрец откроет тайну этого сна?

Почему, например, Омару Хайяму не приснился судья судей имам господин Абу Тахир, который пригрел возле себя молодого ученого, и обласкал, и дал ему возможность углубиться в алгебру?

А почему не явилось в это утро хотя бы другое видение? Речь идет о правителе Бухары принце Хакане Шамсе ал-Мулке. Разве мало сделал для него добра? И не отсюда ли, из Бухары, еще дальше пошла слава об ученом Омаре Хайяме?

* Хакан — тюркский правитель.

Нет, не приснился Омару Хайяму ни судья судей Самарканда Абу Тахир, ни бухарский принц. А явилась в сновидении некая туранка... Омар Хайям точно определил время, в которое приснился ему сон: перед самым восходом солнца, то есть перед тем, как вставать.

Некая сила, которую ученые индусы, живущие в горах, называют силою нервов и мозга, перенесла хакима в блаженные дни, проведенные в Самарканде. Как бы за занавеской прошли тени бухарского правителя, замечательного по уму самаркандского кади * и многих деятельных людей. Они прошли, словно бы уходя в небытие и не оставляя в сознании хакима никакого следа.

Та же самая сила нервов и мозга осторожно приподняла Омара Хайяма с ложа, и он поплыл, как по воде. Но это было не плавание, а скорее полет. Что-то сладостное подступило к гортани: то ли дух замирал, то ли пьянящий ветерок наполнял легкие. Всего несколько минут продолжался этот счастливый полет, и все та же сила нервов и мозга осторожно опустила хакима на изумрудную траву. Но дело не в цвете травы, схожей с изумрудом: сама трава была из настоящего изумруда. Каждая былинка выточена из этого драгоценного камня. Но она не ломалась. Нет, она мягко поддавалась тяжести и пригибалась к земле, как настоящая травинка.

И только вздохнул от такого блаженства хаким, как счастье его увеличилось вдесятеро: рядом с ним лежала туранка, любимая некогда хакимом. Это была молодая женщина, больше похожая на огонь, нежели на плоть, состоящую из мяса и костей. И, как настоящий огонь, умела она обжечь. Как огонь, умела она закалить своей любовью. Тот, кто однажды испытал ее страсть, навсегда оставался ее рабом, верным до могилы.

* Кади — судья.

— О господин! — чуть ли не пропела красавица туранка по имени Ширин.

Хайям тотчас поцеловал колени ее, прекраснейшие из созданных когда-либо аллахом.

И было ему в то время двадцать три года. Был он ловок и красив, как джейран, и мужская доблесть его похорила не одну девицу из туранских степей.

Потом, воздав хвалу аллаху за неожиданную милость, он припал к грудям ее и пил из них некий сок, больше походивший на вино, чем на молоко.

Довольная Ширин обвила его шею руками. Но были это гибкие и сильные лозы, а не руки. И заглядывала Ширин в самую глубину его глаз...

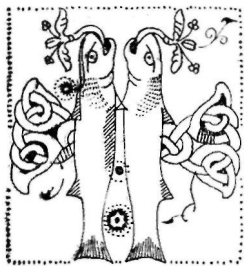
Хайям был воистину заморожен. Хотел спросить: «Откуда ты, милая Ширин?» И не мог, ибо слова застревали в горле.

Он хотел знать: «Прошло столько лет, а ты все та же роза. В чем тайна сего?» И не мог: язык не повиновался ему...

И когда совершилось все по желанию Ширин, хаким проснулся и увидел зеленые кипарисы в окне. И небо за кипарисами увидел, и редкие зубья окрестных гор, и солнечный луч, розовый и горячий, на каменных вершинах...

Это было чудесное сновидение. Чтобы раскрыть его смысл, следовало определить, каково было положение главнейших светил в эту ночь.

Хаким собирался сделать это без промедления, хотя и не верил в те дни в небесные предопределения. Но бывают же порою минуты, когда мы слабее своих убеждений...



ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ВЕЧЕРЕ, КОТОРЫЙ НАВСЕГДА
ОСТАНЕТСЯ РОКОВЫМ В ПАМЯТИ
ОМАРА ХАЙЯМА

Луна стояла высоко в небе, когда хаким покинул свой дом и направился к реке. Может быть, впервые в жизни он посетовал на необычайную лунность, которая нынче казалась совсем некстати. Правда, любовь не обходится без луны. Однако луна должна появляться в нужное время, но никак не раньше.

Хаким шел уверенной походкой. Невысок, негружен, стройный и сильный... Он старался держаться в тени. Насколько это возможно...

Эльпи неохотно отпустила его. Он сказал ей:

— Я же не впервые коротаю ночь в обсерватории.

— А сегодня на сердце неспокойно... — так сказала Эльпи.

И он было заколебался. Еще мгновение, и он, пожалуй, остался бы, но Эльпи отстранилась, поцеловав его.

— Иди, — проговорила она тихо. — Я буду ждать тебя всю ночь.

И он ушел.

У самой реки, которая серебрилась под луною настолько ярко, что казалась гигантским, тягучим сгустком голубого света, Омар Хайям пошел вверх по-над берегом. Это были довольно пустынные в ночное время места. Непреодолимая сила толкала хакима вперед, и он не думал ни о чем, кроме этой туранки Айше. И хаким волновался

так же, как волновался в двадцать лет. А может, даже больше. Он думал также и о той, которая осталась дома, но уколы совести были нынче легки, легче, чем когда бы то ни было...

За высокими глиняными оградами лаяли собаки. Иные просто скулили. Может быть, во сне. Хаким шел навстречу речным струям, субстанция которых нынче была сплошь лунною.

И вот наконец эта хижина. Это обиталище бедности и скудности, оболочка, как нельзя более естественная в этой жизни: за ее уродливыми формами скрывается суший жемчуг.

Хаким стал в тени тутового дерева, слился со стволом. Вел себя как опытный меджнун: необузданно и одновременно осмотрительно.

Он размышлял:

«Там, за углом этой трухлявой хижины, дверь. За этой дверью, чуть подалее, еще одна дверь. Но не ошибиться бы, к Айше ведет именно вторая дверь. Впрочем, она сказала, что мать ее ночует у соседки. А почему? Сговор? Мать знает все и не предостерегает свою дочь, эту жемчужину? Или все туранки такие легкомысленные? Или бедность толкает их на расчетливые свидания?.. А впрочем, какое все это имеет значение?.. Долго ли еще будет светить луна человеку по имени Омар Хайям? Долго ли будет бежать голубая река и ворковать по-голубиному?.. Хайям, неужели ты собираешься прожить более ста лет? Неужели ты можешь размышлять, когда за этой стеною сама Айше?..»

Хаким делает шаг, еще шаг и еще шаг. Это походка леопарда. Это шаги истинного меджнуна...

Луна отбрасывает на землю короткие, но густые тени. Оттого все окружающее, политое голубыми лучами, кажется особенно ярким. И сам хаким выглядит как бы отлитым из нефрита в своем прекрасном шерстяном одеянии

и белой шелковой чалме, которая не шире обычной войлочной пастушеской шапки. И хакиму претит уж слишком любопытствующий, уж слишком нахальный свет, льющийся с неба. Он предпочел бы мрачную черноту...

У дверей постоял. Прислушался. Ему показалось, что кто-то дышит за ними, словно после быстрой пробежки. Ему почудилось, что и там, за тонкой деревянной перегородкой, бьется чье-то сердце, так же гулко как и его собственное.

Омар Хайям потянул на себя деревянную ручку, и дверь подалась. Она подалась легко и без скрипа. И черная полоска открылась, полоска шириною в два пальца и высотой от порога до притолоки. И из этой таинственной щели повеяло мускусом и жасмином. Он глубоко вдохнул эти запахи, и у него чуть закружилась голова.

Давно так не волновался. Женщины сделали его смелым и даже самоуверенным. Ему говорили, что он красив и статен. И слова свои подтверждали, подчиняясь всем его желаниям. Но сегодня он трусил. Как юноша, идущий на первое свидание.

Он еще раз прислушался: все было спокойно, собаки лаяли где-то далеко, река урчала по-прежнему, великий город спал спокойным и глубоким сном.

И тогда он рывком распахнул дверь, и лунный свет ворвался в черноту комнаты, которая была за дверью. И на пороге — или почти у порога — красовалась сама Айше в белом шелку от плеч до пят. Этот шелк подарил ей хаким, подарил, как и многое другое — багдадские духи и хорасанскую шерсть, нишапурскую бирюзу и хорезмские шелка.

Он шагнул в комнату и упал на колени перед нею. Она была красива, как неземное существо, и привлекательна своей земной плотью. Хаким обхватил ее бедра, а губами приник к животу ее. Она стояла недвижима, словно обнимали не ее, словно целовали жаркими поцелуями не ее,

а другую. И жар поцелуев его проникал через нежную ткань шелка.

Он медленно опускался вниз. Его руки скользили по крепким ногам и ниже колен по икрам. И обхватили обе лодыжки, будто опасаясь, что Айше убежит. И приник он к великому роднику, прохладному и животворному, — к ногам ее. И целовал каждый палец. Целовал многократно.

Так они встретились в ее хижине — жалкой, убогой, единственным украшением которой была Айше.

И только потом, немного опомнившись, он прикрыл за собой дверь, а она помогла ему нащупать засов и тем самым прочно закрыть вход от непрошенных гостей.

В углу неярким светом мерцал светильник, тоже подаренный хакимом. И когда глаза немного привыкли к темноте после молочной белизны лунной ночи, он стал различать некие предметы домашнего обихода, а главное, увидел постель. Это была царская постель. Широкая, с большими подушками, щедро источающая запах жасмина. Белье сверкало даже в темноте, даже при слабом свете светильника. Оно было словно снег по чистоте и опрятности своей — чистейший снег на вершине Дамавенда.

И он заметил низенький круглый столик, вино и фрукты на нем, какие употребляют в Туране*, и две подушки у стола.

Хаким сказал:

— Айше, я очень счастлив.

— Господин, — сказала вдруг осмелевшая Айше, — подкрепись вином и фруктами.

Она рассмеялась, и ему показалось, что это звенят переливчатые колокольчики исфаханской работы, серебряные с небольшой примесью бронзы, и пригласила медженуна к столу. И когда они уселись на подушках, призналась:

* Туран — области по правую сторону реки Амударья.

— А я все-таки боюсь...

— Я тоже, — в тон ответил он. И вдруг, спохватившись: — А сюда никто не явится?

— Кто же? — ответила Айше. — Кто, кроме тебя и матери, посмеет переступить этот порог? А мать моя в гостях.

— Она все знает, Айше? — Омар Хайям и сам не понимал, зачем задает этот вопрос.

— Она сказала мне: вот настоящий мужчина, ибо трусит. — И снова рассмеялась все тем же смехом исфаханских колокольчиков. — А я решила и почти не трушу.

Хаким снова повторил:

— Я очень счастлив. — А сам подумал: «Кто научил ее этим словам?»

Она налила вина. И они выпили: медленно, наслаждаясь вкусом его и ароматом, глядя друг на друга долгим, долгим взглядом и ведя разговор глазами.

И он сказал про себя: «Аллах, чем отблагодарить тебя? За все грехи мои и прегрешения, за богохульные мысли и стихи ты снова посылаешь подарок, воистину достойный самого правоверного из правоверных!» Подумал — и тут же опроверг себя: кто бы мог одарить этим лучшим из подарков, если бы не нужда — жестокая нужда, которая пригнала сюда из Турана трудолюбивую мать прекрасной Айше?

Хаким впал в задумчивость. Ему хотелось найти правильный ответ на волновавший вопрос. И как всегда, и на этот раз помогла женщина.

Айше сказала:

— Ты все думаешь о своих светильах и небосводе?

— Почему ты так решила? — удивился он.

— А о чем же еще? По-моему, только они в твоём сердце.

— Ты уверена? — задорно спросил он. И скинул с

себя верхнюю одежду. Скинул и бросил ее в угол. Прямо на землю. И чалму свою кинул куда-то.

— Сними и ты, — попросил он ее.

Она ответила:

— Не сейчас.

И он покорился ей, схватил за руку и сказал:

— Объясни мне, Айше. Не сердись, но объясни. Почему я особенно счастлив нынче, этой ночью, здесь, у тебя? Может, этим я обязан твоей ворожке?

— Возможно, — сказала Айше.

— Нет! — сказал хаким. — Если ты и ворожишь, то только глазами и телом... Только бедрами и ногами... Походкой своей и статью, умением разговаривать и обольщать жемчугом зубов и кораллом губ. Исфahanские поэты, у которых я заимствую эти недостойные тебя слова, могут сказать еще лучше. А я не умею... Я не знаю, что будет завтра, — продолжал хаким, — но сегодня я счастлив.

— А разве мало этого? — сказала Айше.

— О Айше! — воскликнул Омар Хайям. — Ты мудрее меня. Я просто волопас по сравнению с тобою! Налей и выпьем, Айше. Я хочу, чтобы заходила земля подо мною и светила небесные закружились в немыслимом хороводе!

Айше была мила и покорна, помня наказ своей матушки. Но независимо от советов доброй матушки она сердцем стремилась к этому очень привлекательному мужчине. Айше сказала:

— Эта ночь принадлежит нам, и ты вправе распорядиться ею по своему усмотрению.

— Аллах! — воскликнул Омар Хайям, восторгаясь умом молодой Айше. — Или ты действительно столь мудра, как мне кажешься, или ты весьма опытна и коварна!

На что Айше, это создание великой природы, ответила с величайшей рассудительностью:

— Скоро ты сам убедишься во всем. Отдалить или приблизить это время, зависит только и только от тебя.

И снова поразился Омар Хайям ее воспитанности и женственности. И воскликнул, высоко подымая чашу:

— Да будет вечно такой моя Айше, какую представляется она нынче, этой лунной ночью, этой счастливейшей ночью в моей жизни!

Так говорил хаким и пил вино, любуясь Айше и не решаясь сорвать с нее шелковое одеяние. Он поднял кувшин, полюбовался им и сказал:

— Айше, я думаю, что и он некогда был межднуном. Я вижу его глаза. Я вижу его губы, которые шептали нежные слова. А может быть, это была очаровательная девица? И она любила? И была любима?.. Пока гончар не превратил ее в этот кувшин.

У Айше расширились глаза, она прижала руки к груди, как бы обороняясь от чего-то дурного.

— О! Какие страшные речи ты ведешь, — прошептала она в страхе.

Хаким опустил кувшин наземь, чуть не разбив его. И вдруг содрогнулась земля. Вдруг раздался великий шум. словно несчастный кувшин вызвал этот шум во всей вселенной...

И хаким и Айше замерли. А шум все продолжался. Он доносился откуда-то из-за реки. И в ночной тишине отзывался громоподобно.

— Что это? — испуганно проговорила Айше.

Омар Хайям прислушался. Нет, что-то творилось там, за дверью, в большом мире. Но что?

Шум то нарастал, то утихал, чтобы с новой силой громыхнуть в ночном Исфахане. Это был не гром. И не землетрясение. Это было нечто похуже: многоголосый шум толпы, шум несметного количества людей. Так может шуметь только вдруг разъярившаяся, одновременно

выкрикнувшая проклятье тысячная толпа... Но что же это происходит под ночным небом?

— Я боюсь, — сказала Айше.

Он подумал! «Может быть, прорвало плотину на реке и волны бушуют совсем рядом?..»

— Неужели конец света? — сказала Айше дрожащим голосом.

Он подумал: «Может быть, налетел ветер пустыни?»

Он сказал ей:

— Я все сейчас узнаю.

И отпер дверь. И снова оказался во власти голубых лучей. И сощурился — уж больно ярко светила луна!

На небе все было спокойно. Бесстрастно сияли светила. Небо зеленело подобно сочному лугу, который на берегах Заендерунда. А на земле?

Омар Хайям оделся, вышел на улицу. Вдали за рекою пылал пожар. Огромное пламя, очень красивое на фоне зеленого неба, рвалось вверх. И оттуда доносился шум, похожий на шум океанского прибоя. Хаким определил, что наверняка горит в той стороне, где расположен дворец. Но не совсем в той: значительно правее дворца. И вдруг хакима охватывает страшная догадка: не дом ли это главного визиря Низам ал-Мулка? Не оттуда ли доносятся крики?

Улица начала оживать: сонные люди выбегали, что-то кричали, кого-то звали, кому-то отвечали...

— А вон еще! — выкрикнул кто-то высоким голосом.

И хаким увидел еще одно пламя: поменьше того, которое за рекою.

Омар Хайям бросился к реке, чтобы получше разглядеть, где это занялся еще один пожар? И схватился за голову: неужели горит обсерватория?

Надо торопиться! Надо бежать в город и выяснить, что же происходит, откуда огонь и кто рычит многоголосьем рыком?..

— Айше, — сказал он девушке, вернувшись в хижину, — что-то странное творится в Исфахане. Мне надо идти.

— И я с тобою, — решительно заявила она.

— Нет! — хаким обнял ее. — Я полагаю, что здесь тебе будет лучше. Ну куда ты пойдешь в эту ночь? А я все разужнаю и вернусь.

Айше не противоречила. Поднесла ему чашу со словами:

— Я верю в твое счастье.

— Я тоже, Айше.

Омар Хайям выпил. Поцеловал Айше. А у самого перед глазами огонь, а у самого в ушах непонятные крики.

Вдруг кто-то постучался в дверь и громко позвал:

— Мой господин! Мой господин!

Это был голос привратника, голос Ахмада. Только один он знал, где искать хакима нынче ночью...

Омар Хайям вышел на зов и прикрыл за собою дверь.

— О господин! — чуть ли не плача, сказал Ахмад. — Несчастье, большое несчастье!

Хаким вдруг словно окаменел. Он подумал: «Жизнь человеческая на волоске, а меч смерти работает без устали. Что волосок против стали?» Хаким скрестил руки. И, устремив взгляд в звездное небо, сказал очень спокойно:

— Я слушаю тебя, Ахмад. Говори все по порядку... Я слушаю...

Ахмад снова воскликнул:

— Большое несчастье, мой господин!

— Ахмад! — голос хакима был тверд и повелителен. — Я хочу знать все. Говори не торопясь. По порядку.

Ахмад передохнул. Почему-то взялся за собственную шею обеими руками, словно пытался освободиться от

чьей-то невидимой хватки. Хотя он и старался излагать все по порядку, но рассказ получался сбивчивым.

Хаким ни разу не прервал его.

А случилось вот что (со слов Васети и Исфизари, которые прибежали в дом хакима, чтобы оборонить своего учителя и друга): ассасины напали на дом главного визиря. А напали они после того, как некий дервиш убил ударом ножа главного визиря. Его превосходительство Низам ал-Мулк погиб. Это был сигнал, и ассасины, предводительствуемые неким Хасаном Саббахом, подожгли дворец визиря и окружили дворец его величества.

А этот сумасшедший Хусейн со своими сумасшедшими друзьями ворвались в дом и...

Тут Ахмад зарыдал.

— Дальше, — жестко приказал Омар Хайям.

— А дальше я увидел окровавленную Эльпи. Он убил ее и всюду искал тебя, о мой господин... А обсерваторию поджег... От бессильной злобы...

Ахмад еле сдерживал рыдания.

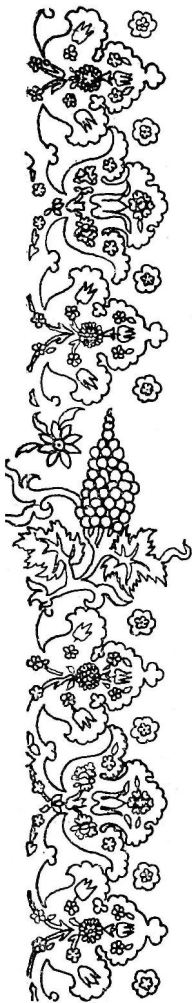
Хаким стоял спокойно. И, казалось, вовсе не дышал. Лицо его было бледное, точно восковое. А глаза пылали, как те два больших пожара.

Так стоял он. И Ахмаду, который не спускал с него глаз, почудилось, что на лбу хакима образовалась глубокая морщина, которой не было еще минуту назад.

Постепенно взгляд Омара Хайяма, устремленный вперед, становился взглядом человека измученного, взглядом человека, охваченного великим горем.

— Что делать? Что делать, господин? — вопрошал Ахмад.

Омар Хайям молчал...



ВМЕСТО ЭПИЛОГА

ОБ ОДНОМ ПУТЕШЕСТВИИ В СТРАНУ ОМАРА ХАЙЯМА

Под нами чернильная земля.
Над нами чернильное небо. Мелькнет в иллюминаторе огонек и погаснет. И не сразу сообразишь, на земле это или на небе.

Наш самолет понемногу снижается. В полной южной тьме. И вдруг примерно с километровой высоты открывается вид на россыпь огней — белых, красных, зеленых. С каждой минутой они ярче и игривее. Огромное озеро огней среди чернильной темноты. Это Тегеран поздним вечером.

Еще несколько минут, и самолет стремительно мчится по бетонной дорожке Мехрабадского аэропорта.

Стоп! Я уже на земле великих поэтов, среди которых особыми гранями сверкает имя Омара Хайяма. Это он привел меня сюда. Это его земля и его народ. Между нами и его жизнью пролегли столетия. Но разве позабыт Омар Хайям? Кто не знает его? Какое сердце устоит против его искрометных рубаи? Омара Хайяма знает весь мир.

Этот человек посвятил себя математике и астрономии, считал себя учеником Абу Али Ибн Сины и лишь на досуге занимался поэзией. Но обессмертила его поэзия. Прекрасная участь подлинного поэта, который стеснялся называть себя поэтом после Фирдоуси!

Омар Хайям с самой молодости не знал отдыха, великие проблемы математики волновали его. Впрочем, отдыхал он в часы поэтических размышлений. Но и это всего лишь иная форма труда...

Мехрабадский аэропорт в этот поздний час сравнительно спокоен. Но близкое присутствие трехмиллионного города все равно ощущается...

Тегеран, кажется, твердо взял курс на то, чтобы в недалеком будущем превратиться в супергород. Это, можно сказать, огромный оазис среди каменистой пустыни.

Сверху иранское плоскогорье выглядит серо-желтым. Каждую травинку здесь надо поливать водой — прилежно, неустанно. Каждое дерево холят, как дитя. Не только Тегеран, но и Мешхед, и Исфахан, и Шираз кажутся оазисами. Это зеленые пятна на серо-желтой земле.

Великое достижение двадцатого века — автомобиль становится чуть ли не проклятием. Это особенно заметно в Тегеране. Железный поток движется по городским артериям непрерывно, безудержно. И для человека почти не остается места. Иран выпускает пять типов машин отечественного производства. «Арии» и «пейканы» приметны повсюду. И скорости здесь ничем не ограничены...

Очень важно не растеряться в этом железном потоке, важно сохранять бдительность и спокойствие, все время быть начеку, реагировать молниеносно. К счастью, этими качествами обладают иранские водители. Это иску-

ство у них почти на уровне циркового. Они невозмутимо врываются в стремительный поток и, хранимые аллахом, благополучно катят по улицам Тахте-Джамшид и Надери, по Тахте-Таву или Пехлеви. Я гляжу на них и диву даюсь...

Давно позабылись караванные перезвоны, небо Ирана бороздят самолеты, по шоссе сломя голову бегут автомашины, но земля бескрайняя и суровая. Как в годы Хайяма...

Время пытается стереть все. Ему стойко противостоят человеческая память и культура. И тем не менее многое неясно в жизни Омара Хайяма. Он родился в Нишапуре и похоронен в Нишапуре. Его могилу с чудным надгробьем я видел и поклонился ей. Вокруг прекрасный сад, в котором ярко горят цветы. Хранитель мемориала Таги Асефи подарил мне семена этих цветов, я их посеял в Абхазии, и теперь неповторимой расцветки живой ковер радует глаз абхазцев. Я взял с собою горсть земли, в которой погребен Омар Хайям.

Несколько лет тому назад прах Хайяма перенесли на нынешнее место, чтобы воздвигнуть величественное надгробье. При этом присутствовал садовый рабочий по имени Абольфазль. Он сказал мне:

— Я видел его... Это был серый скелет, лежащий прямо на земле. Когда к нему прикоснулись, он рассыпался. Теперь его прах под камнем.

В тринадцатом веке Нишапур подвергся нападению кочевых орд. Город был разрушен до основания. Было вырезано все население поголовно! Даже кошки и собаки и те были перебиты. С той поры Нишапур с трудом, но оправился. А небольшое поселение Нокан — в полутораста километрах отсюда — стало расти, и теперь это город Мешхед, столица Хорасана.

Днем в Мешхеде жарко. После полудня город зами-

рает. И это время хорошо проводить в прохладных кинотеатрах.

А в Нишапуре, у входа в Хайямовский мемориал, посетителей ждет не менее прохладный, чем кино, ресторан. Здесь можно подумать о времени и поэзии, о жизни и смерти. Чтобы снова и снова согласиться с Омаром Хайямом: «В кредит не верю! Хочу наличными. Сейчас».

В молодые годы Омар Хайям жил в Бухаре и Самарканде. В двадцать семь лет он был замечен в далеком Исфахане. Главный визирь Малик-шаха Низам ал-Мулк пригласил молодого ученого в Исфахан. Здесь Омар Хайям провел более сорока лет. Здесь он задавался вопросом:

«Что там, за ветхой занавеской тьмы?
В гаданиях расстроились умы...»

И тут же находил ответ, полный глубокого философского смысла:

«Когда же с треском рухнет занавеска...
Увидим все, как ошибались мы».

Доктор Шоджаеддин Шафа — автор многотомного труда. Это переводы на персидский художественных произведений с различных европейских языков и с русского тоже. Он уже издал пятьдесят томов. Значение его деятельности невозможно переоценить. Доктору всего пятьдесят с небольшим, и он полон сил и энергии. Господин Шафа сказал мне:

— Омар Хайям — самая интересная фигура в ряду звезд персидской литературы. Его поэтические перлы сверкают, как и много веков назад, а его календарь «Джалали» точнее современного...

Доктор Масуд Ансари, много делающий для налаживания культурных связей между иранским и советским народами, восторженно отозвался о поэзии Хайяма.

— Омар Хайям, — сказал Масуд Ансари, — любил жизнь во всех ее проявлениях. Его поэзия остается верной этой концепции.

Не менее восторженно говорил об Омаре Хайяме как поэте известный иранский ученый, сенатор доктор Парвиз Натель Ханлари.

Эти мнения я привожу потому, что в Европе часто можно услышать: в Иране, дескать, больше ценят Хайяма-ученого, нежели Хайяма-поэта. Я хочу засвидетельствовать, что Хайяма-поэта глубоко чтят в Иране, и особенно те, кто любит высокое поэтическое мастерство и глубокую мысль...

Как лучше всего развернуться налево в Тегеране, если едешь в машине? Ждать, пока схлынет встречный поток? Но эдак можно прождать целый день, и безрезультатно. Но я, кажется, уразумел суть главного маневра при развороте: необходимо подставлять правый бок. Иными словами, надо смело врываться в поток, не думая об опасности. Лучше всего сразу, всем корпусом. Подобно тому как дети бултыхаются с разбегу в реку. Можно при этом и глаза закрыть, чтобы не бояться. Следует, очевидно, полагаться на реакцию водителей. Только и всего! И тогда вы совершите удивительный разворот. Как ни в чем не бывало...

А где делать разворот? Да в любом месте, где вам заблагорассудится! Это очень удобно. А риск, как известно, дело благородное...

Малик-шах распорядился построить обсерваторию для Омара Хайяма. По чертежам ученого и под его руководством. Построить в Исфахане — столице сельджукской империи. Сейчас от той обсерватории нет и следа. Профессор Лотфолла Хонарфар сказал, что от эпохи Хайяма осталась только мечеть Джаме, купол ко-

торой вознесся на высоту тридцати пяти метров. Мы поехали с ним полюбоваться кладкой стен и архитектурой древнего сооружения.

Горы, высокими зубцами стоящие вокруг Исфахана, и река Заендерунд выглядели так же и во времена Хайяма. В их облике мало что изменилось.

А вот Исфахан растет и ширится. Численность его населения перевалила за полмиллиона. При Хайяме город был, конечно, гораздо меньше. Искусство чеканщиков, несомненно, уходит своими корнями в глубокую древность. Блюда, кувшины, гигантские вазы, причудливые светильники, серебряная посуда — все это поражает тонкостью работы, изобретательностью мастеров и великолепным вкусом их создателей.

Омар Хайям и его сподвижники собрали у себя наиболее точные инструменты: астролябии, квадранты — многие из них самодельные — засверкали медью на верхнем этаже обсерватории, изображавшем круг с азимутальными делениями.

С нашей точки зрения, все это довольно примитивно. Алидады, лишенные окуляров, давали немалый простор для ошибок. За счет чего же достигалась точность вычислений, которыми прославился Омар Хайям? Очень интересно ответил на это профессор Владимир Щеглов, директор Ташкентской обсерватории. Он сказал мне:

— Омар Хайям, как и многие его предшественники, в частности Архимед и Птоломей, производил многократные наблюдения. Скажем, тысяча наблюдений, тысяча вычислений! Все это уменьшало ошибку в тысячу раз. Секрет, как видите, прост.

Именно здесь, в Исфахане, Омар Хайям и его друзья составили календарь, более точный, чем тот, которым мы пользуемся сейчас. Это удивительно!

Над Исфаханом сверкают все те же звезды, на которые смотрел Омар Хайям. Они совершают все тот же

путь в небесной сфере. И Зодиак прежний. Нынче разгадано многое из того, что находится «за ветхой занавеской тьмы». Но вслед за одной занавеской появляется другая. И так будет без конца. Омар Хайям это хорошо понимал...

Улица запружена от тротуара до тротуара. Железный поток машин неумолим: некуда ступить ногой. Но тут появляется некий молодой человек с велосипедом. На голове у него круглый поднос диаметром чуть ли не в метр. На подносе установлены тарелки, миски с едой на шесть персон. В руках такой же таз, но без тарелок и мисок.

Потомок Омара Хайяма недолго думает: его движения четки, а голова не отягощена проблемами мироздания...

Молодой человек нажимает на педали.

Его велосипед попадает в узкую щель меж двух машин.

Из этой щели аллах выносит его в другую.

Я уже вижу велосипедиста среди бушующей стихии.

Его поднос далеко. Он правит велосипедом без рук. Вон он уже впереди, метров за сто от меня. Выживет ли?..

И я слежу за подносом: он гордо блистает над неизменно бурным потоком машин. И уверенно продвигается вперед...

Омару Хайяму была предоставлена прекрасная возможность заниматься наукой (поэзией — между делом). В Исфахане под покровительством главного визиря Низама ал-Мулка. При содействии ученых — его одногодков. Это были люди молодые. Они начали совместный путь, когда им было лет по двадцать семь. И шли вместе, рука об руку, разгадывая тайны мироздания.

Звездными ночами, когда Исфахан засыпал, молодые люди устремляли свой взор в бездонную глубину. Млечный Путь уже не казался причудливым поясом. Они понимали, что Земля шарообразна. И Солнце шарообразно. Той же формы и Луна. За их спиной стояли такие великие люди, как Ибн Сина, Бируни и Фирдоуси, вся жизнь которых прошла в трудах, которые оставили великие сочинения. Но стоять на месте невозможно! И поэтому Омар Хайям и его друзья не смыкали глаз в ночной тьме.

А еще волновали ученого и поэта параллельные линии. Те самые параллельные линии, которые послужили основой для всей Евклидовой геометрии. Напомню, как сформулировал постулат сам Евклид: «И если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы меньше двух прямых, то продолженные эти две прямые неограниченно встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых». А если углы равны двум прямым? Тогда линии параллельны. И они нигде не встретятся. Даже в бесконечности? А что такое бесконечность? Разве греки всерьез принимали бесконечность? То, что нельзя проверить измерением...

Омар Хайям подолгу обсуждает со своими друзьями эту проблему. Затем берется за решение ее. А решали ее ученые и за тысячу лет до него. И будут решать еще много веков после него. Пока не появятся Лобачевский и Риман... Сам того не подозревая, Омар Хайям близко подошел к проблемам, которыми будут заниматься и занимались они. В том самом месте своих изысканий, где допустил существование треугольников только со всеми острыми или только со всеми тупыми углами...

Звезды в Тегеране такие же, как в Нишапуре и Исфахане, Ширазе и Хамадане. Одно небо над Ираном. Оно располагает к мелодичному говору и к размышлениям. Так повелось со времен Ибн Сины.

Профессор математики Хаштруди предоставил слово господину Бирашку. Господин Бирашк возглавлял группу преподавателей средних школ. Она побывала в Советском Союзе. И от ее имени выступил перед собранием глава делегации.

Над головами простиралось темное небо. На нем весело горели звезды. И господин Бирашк говорил неторопливо, певуче, выразительно, останавливаясь на деталях.

Он говорил о Советском Союзе, городах, где побывала делегация, о постановке школьного дела у нас. Доклад сопровождался демонстрацией диапозитивов. Это было точное, объективное сообщение. Его слушали почти два часа. Внимательно, заинтересованно, почти тенью... Не так ли слушали друг друга и в Исфахане, в обсерватории?..

Что там, за ветхой занавеской тьмы?..

Известный журналист Хушанг Мехр Аин в газете «Кейхан» предрекает Тегерану незавидное будущее. Он именуется скромно «футурологом-любителем». Тем не менее его выводы основываются на реальном положении вещей и, несомненно, выявляют наиболее зримые черты бурно развивающегося Тегерана. Журналист пишет, что если и далее сохранится нынешняя тенденция безудержного расширения города, если не будет необходимого, разумного планирования, если верх возьмут меркантильные соображения отдельных граждан, то «последствия будут катастрофическими». По мнению автора статьи, через двадцать лет Тегеран будет насчитывать двадцать миллионов жителей (против трех в настоящее время). Границы Тегерана с окраинами переместятся к городу Хамадану (это примерно в трехстах километрах к западу от Тегерана). Количество автомашин возрастет до пяти миллионов.

Будет установлен возрастной ценз водителей — не менее двадцати одного года! Воздух будет загрязнен до крайности, потребление воды снизится из-за ее нехватки, возрастут случаи самоубийства на почве нервного перенапряжения. И так далее... Картина далеко не радостная, но, по-видимому, достаточно реалистичная...

Когда я бродил по тегеранским улицам и наблюдал бесконечную, казалось, совершенно бессмысленную стремительность хаотичного потока машин, мне порою слышались слова мудрого Омара Хайяма: «Ты жив — так радуйся, Хайям!» Если много столетий назад эти слова приносили утешение, то в наше время, на мой взгляд, они нуждаются в некоей поправке в хайямовском стиле. То есть в мудром переосмыслении некоторых явлений нашей современности, чтобы будущее не оказалось столь уж мрачным, как это рисуется на страницах газеты «Кейхан».

Нишапур расположен недалеко от нашего Ашхабада и недалеко от афганского Герата. Из Мешхеда ведет сюда новое шоссе. Островерхие пики недалеких гор сопровождают вас почти на всем пути. Климат здесь континентальный: летом очень жарко, а зимою морозы достигают порою градусов тридцати.

Последние годы своей жизни Омар Хайям провел в Нишапуре, читая книги, размышляя над бытием. Научная работа была уже позади. Возможно, что здесь были написаны новые рубаи. Он жил в доме вместе со своей сестрой и ее мужем, Мухаммедом ал-Багдади.

Низами Арузи Самарканди оставил такой рассказ: «...В городе Балхе на улице торговцев рабами в доме эмира Абу-Са'да собрались хадже Омар Хайям и хадже имам Музаффари Исфизари. Я присоединился

к ним. Во время беседы и веселия я услышал слова худжат ал-хакк Омара, который сказал: «Моя могила будет в таком месте, где два раза в году деревья будут осыпать ее лепестками цветов». Эти слова показались мне невероятными, но я знаю, что он не говорит пустых слов.

Когда... я прибыл в Нишапур, то прошло уже несколько лет с тех пор, как тот великий муж прикрыл лицо завесой из праха и мир лишился его. А я был обязан ему как ученик. В пятницу я отправился на кладбище и взял с собой одного местного жителя, чтобы тот показал мне могилу Хайяма. Мой проводник привел меня на кладбище Хайра, по левую сторону от Кашле. У основания садовой стены находится могила Хайяма. Абрикосовые и грушевые деревья из сада протянули ветви через стену, и на его могиле было столько цветочных лепестков, что под ними не было видно земли. Я вспомнил слова, которые слышал от него в Балхе, и заплакал, ибо нигде во всем мире, от края до края, я не видел равного ему...»

А вот свидетельство ал-Байхаки:

«Его свояк имам Мухаммед ал-Багдади рассказывает мне: «Однажды он чистил зубы золотой зубочисткой и внимательно читал метафизику из «Исцеления». Когда он дошел до главы о едином и множественном, он положил зубочистку между двумя листами и сказал: «Позови чистых, чтобы я составил завещание». Затем он поднялся, помолился и после этого не ел и не пил. Когда он окончил последнюю вечернюю молитву, он поклонился до земли и сказал, склонившись ниц: «О боже мой, ты знаешь, что я познал тебя по мере моей возможности. Прости меня, мое познание тебя — это мой путь к тебе». И умер».

Это случилось на восемьдесят третьем году его жизни.

Яр-Ахмад Табризи в «Доме радости»* сообщает о Хайяме: «У него никогда не было склонности к семейной жизни, и он не оставил потомства. Все, что осталось от него, — это четверостишия и хорошо известные сочинения по философии на арабском и персидском языках».

Скажем прямо: наследие немалое!

Наш известный исследователь творчества Омара Хайяма Магомед-Нури Османов и поэт Ахмад Табатабай читали мне рубаи Хайяма на фарси. Это было не раз и не два. Потом мы говорили о том, что и когда писалось: что в молодости, а что на старости лет. Но стихи Омара Хайяма сверкают одинаково: на них не отразились морщины поэта или удары усталого сердца.

Омар Хайям писал стихи всю жизнь. И не мог не писать. Ибо это было потребностью. Не мог он жить без стихов. Но при этом не думал о славе. По крайней мере, поэтической. У него была своя «настоящая» работа: математика, астрономия, философия. На досуге он составил свой гороскоп, и по нему ученые точно определили дату его рождения: 18 мая 1048 года. Когда восставшие исмаилиты убили и Низама ал-Мулка, и Малик-шаха и разрушили обсерваторию, Омар Хайям остался не у дел. И тогда его потянуло в родной Нишапур. Я полагаю, что это были горькие годы: Омар Хайям и в преклонные лета оставался Омаром Хайямом — полным жажды деятельности, большим ученым и поэтом. И тем не менее пришлось смириться: вольнодумная поэзия вызывала нарекания со стороны всего темного, реакционного. Враги поэта обличали его в богохульстве. Чтобы как-то парировать это грозное обви-

* «Дом радости» — сочинение писателя XV века Яр-Ахмада Табризи.

нение, он совершил хадж * в Мекку и Медину. Это уже на закате жизни. А рубаи обретали новую жизнь и шли по рукам в многочисленных списках.

Доктор Джожаеддин Шафа подарил мне наиболее полное издание Омара Хайяма, включающее триста восемьдесят два рубаи. Многие иранские ученые не шли далее шестидесяти — шестидесяти шести рубаи, полагая, что остальные принадлежат не Омару Хайяму. Я рад, что это издание рубаи по своему составу приближается к изданиям советских иранистов.

Я стоял у могилы Омара Хайяма и думал: сколько же рубаи написал великий поэт? Пятьдесят? Сто? Пятьсот? Или несколько тысяч? Известно, что Омар Хайям писал свои четверостишия на полях ученых трудов в часы раздумий. Известно также, что поэт не оставил сво-их своих стихов. До сих пор не найдена рукопись рубаи. Ученые тщательно сортируют стихи Омара Хайяма в поисках «подлинных» хайямовских произведений.

Однако самое главное и удивительное состоит в том, что стихи Омара Хайяма существуют. Ими зачитываются любители поэзии всех пяти континентов Земли. Я не видел еще человека, который не улыбнулся бы при имени Омара Хайяма и не воскликнул: «Величайший поэт!»

Недалеко от высокого надгробья Хайяма, среди цветов установлен на небольшом постаменте мраморный бюст поэта. Поэт не очень стар, но очень мудр. Он как бы говорит: «Зачем понапрасну ломать голову? Вам нравятся мои рубаи? Так читайте их на здоровье и прекратите бесплодный счет стихам». В самом деле: на десяток рубаи меньше — разве обеднеет Хайям? Это мы, его почитатели, понесем духовные убытки, ибо уже не

* Хадж — паломничество в священные для мусульман места.

можем жить без Хайяма. Он с нами всегда. Он наш поводырь в мире прекрасного и, если угодно, и в этом бренном мире. Без него было бы скучно, чего-то не доставало бы нам.

Я спрашивал себя в Нишапуре: кому этот памятник?

И не раздумывая отвечал: величайшему из поэтов Омару эбнэ Ибрахиму, по отцовскому прозвищу — Хайяму...

Часто спрашивают: почему Омар Хайям так много пишет о вине? Он очень много пил? На этот вопрос дал исчерпывающий ответ французский ориенталист Дж. Дармстетер еще в прошлом веке: «Человек непосвященный сначала будет удивлен и немного скандализован местом, какое занимает вино в персидской поэзии... Вспомним, что коран запрещал вино. Застольные песни Европы — песни пьяниц. Здесь же это бунт против корана, против святош, против подавления природы и разума религиозным законом. Пьющий для поэта — символ освободившегося человека, попирающего каноны религии». Это целиком относится и к поэзии Омара Хайяма.

Шираз — город зеленый. От него до Персидского залива, что называется, рукой подать. Но лежит он на высоте почти тысячи семисот метров над уровнем моря. Ширазцы подвержены урбанизации не меньше, чем исфаханцы или мешхедцы. Однако зелени здесь, пожалуй, больше, чем где-либо в Иране, за исключением прикаспийских земель.

Звезды в Ширазе показались мне ярче, чем в Тегеране. Может быть, оттого, что центральная и южная часть Тегерана — в котловине и поэтому воздух менее прозрачен, чем в Ширазе.

Великое преклонение иранцев перед поэзией осо-

бенно чувствуется в Ширазе. Два великолепных мавзолея — Хафизу и Саади — достаточно красноречиво свидетельствуют об этом. Фонтаны, зелень, цветы, музееи — неперемное окружение таких мавзолеев.

Я пошел поклониться и этим великим могилам. Было жарко. Воздух был раскален. Ветра не чувствовалось. Но цветы и струи фонтанов настраивали на особый лад, они воскрешали сладкозвучные стихи прекраснодушных поэтов, и зной как бы терял свою власть. Во всяком случае, так утверждал один иранский поэт...

Тегеран торгует весь день, замирая лишь после полудня часа на два, на три. Кажется, что торгуют все и торгуют всем — от спичек до автомашин и домов. Торговцы здесь степенные, без «восточного» зазывательства. До позднего вечера горят огни витрин. На знаменитом базаре нет толчеи. В универмагах прохладно и безлюдно. Глядишь на иного продавца, и кажется, что думает он скорее о тайнах мироздания, чем о торговых делах. Но это только кажется.

Значительно оживленнее в маленьких кафе. Здесь в большом ходу водяные кальяны, и городские новости обсуждаются в тихих беседах. Мне вдруг почудилось, что Омар Хайям где-то поблизости, но что Хайяму необходим свой стиль, что кондиционированный воздух, огромные вентиляторы, неоновый свет и автоскачки на бульваре Елизабет менее приличествуют Хайяму.

Но разве сила поэзии — истинной поэзии — зависит от уклада жизни? Разве село ближе к поэзии, чем город? Или наоборот?

Если на одну минуту стать на эту точку зрения, то чем объяснили бы мы тяготение к Омару Хайяму во всем мире? Нет, поэзия Хайяма не стала менее необходимой, хотя Тегеран и дыбится, изо всех сил взбираясь на склоны ближайших гор. Может быть, ее жизненно-

бие, ее философская глубина и умная ирония сейчас еще ближе, еще понятнее и дороже, чем много веков назад...

На русский язык рубаи Омара Хайяма переводились не раз. И каждое новое издание буквально расхватывается любителями поэзии. А наша литература, исследующая творчество Хайяма, велика и разнообразна. Как мы видим, Хайям сближает людей — близких и дальних.

В полусотне километров к северу от Шираза находятся развалины Тахте-Джамшида — Персеполя, столицы древних персидских царей. Среди голых гор стоят каменные стены и колонны. О величии постройки можно догадываться. Иранцы законно гордятся своей историей, которой не менее двух с половиной тысяч лет.

Мне было интересно узнать поближе эту динамично развивающуюся страну. С удовольствием гулял я по новым улицам, которым всего один год от роду, с удовольствием смотрел на кварталы, которым тоже год. И клумбы радовали глаз, особенно потому, что цветы на них не так-то просто возвращать под палящими лучами. Живой Иран — сын своей многовековой истории и не менее любопытен, чем она сама.

Омара Хайяма нельзя отдавать прошлому. Это развивающаяся субстанция, ибо поэзия Хайяма — плоть от плоти иранского народа. Куда бы вы ни пришли, в какой бы уголок Ирана ни приехали, на вас смотрит умный, иронический взгляд Омара Хайяма. И вы непременно услышите его слова: «Ты жив — так радуйся, Хайям!»

Да, Омар Хайям жив и поныне. Он будет жить вечно, вековечно. Рядом со всем живым. Со всем, что движется вперед.

Тегеран — Москва, 1973



ОМАР
ХАЙЯМ
1048—1131

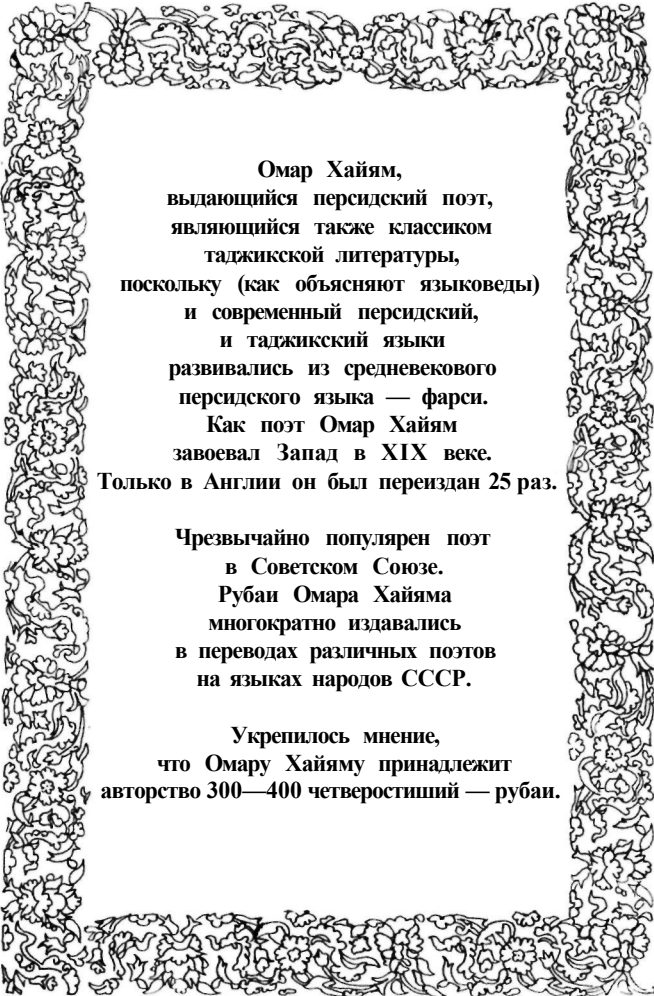
Великий поэт Востока
философ
астроном
математик
врач



РУБАИ

Перевод И. Тхоржевского

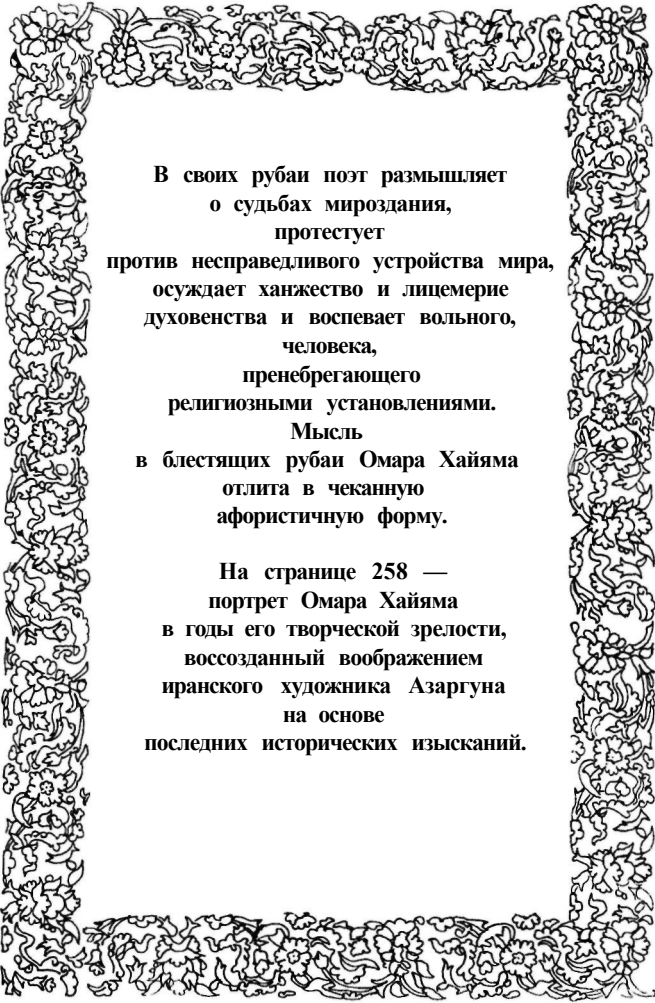




Омар Хайям,
выдающийся персидский поэт,
являющийся также классиком
таджикской литературы,
поскольку (как объясняют языковеды)
и современный персидский,
и таджикский языки
развивались из средневекового
персидского языка — фарси.
Как поэт Омар Хайям
завоевал Запад в XIX веке.
Только в Англии он был переиздан 25 раз.

Чрезвычайно популярен поэт
в Советском Союзе.
Рубаи Омара Хайяма
многократно издавались
в переводах различных поэтов
на языках народов СССР.

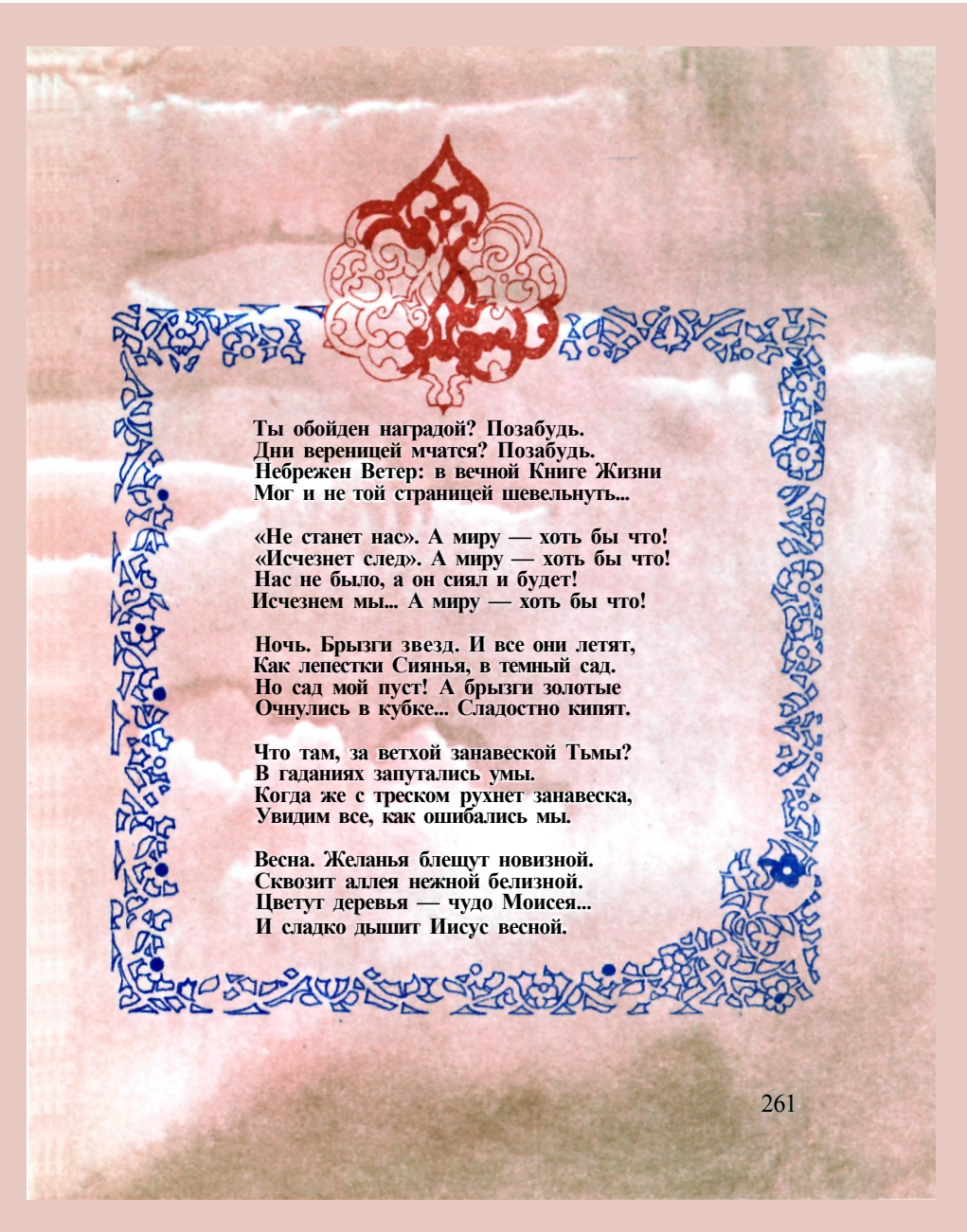
Укрепилось мнение,
что Омару Хайяму принадлежит
авторство 300—400 четверостиший — рубаи.



В своих рубаи поэт размышляет
о судьбах мироздания,
протестует
против несправедливого устройства мира,
осуждает ханжество и лицемерие
духовенства и воспекает вольного,
человека,
пренебрегающего
религиозными установлениями.

Мысль
в блестящих рубаи Омара Хайяма
отлита в чеканную
афористичную форму.

На странице 258 —
портрет Омара Хайяма
в годы его творческой зрелости,
воссозданный воображением
иранского художника Азаргуна
на основе
последних исторических изысканий.



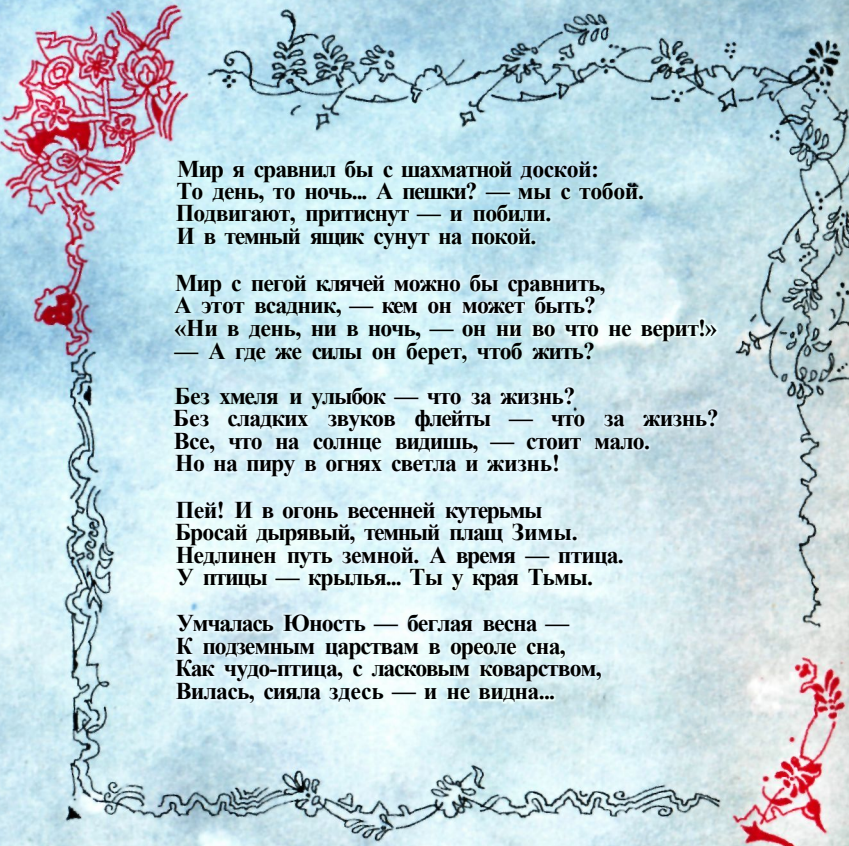
Ты обойден наградой? Позабудь.
Дни вереницей мчатся? Позабудь.
Небрежен Ветер: в вечной Книге Жизни
Мог и не той страницей шевельнуть...

«Не станет нас». А миру — хоть бы что!
«Исчезнет след». А миру — хоть бы что!
Нас не было, а он сиял и будет!
Исчезнем мы... А миру — хоть бы что!

Ночь. Брызги звезд. И все они летят,
Как лепестки Сиянья, в темный сад.
Но сад мой пуст! А брызги золотые
Очнулись в кубке... Сладостно кипят.

Что там, за ветхой занавеской Тьмы?
В гаданиях запутались умы.
Когда же с треском рухнет занавеска,
Увидим все, как ошибались мы.

Весна. Желанья блещут новизной.
Сквозит аллея нежной белизной.
Цветут деревья — чудо Моисея...
И сладко дышит Иисус весной.



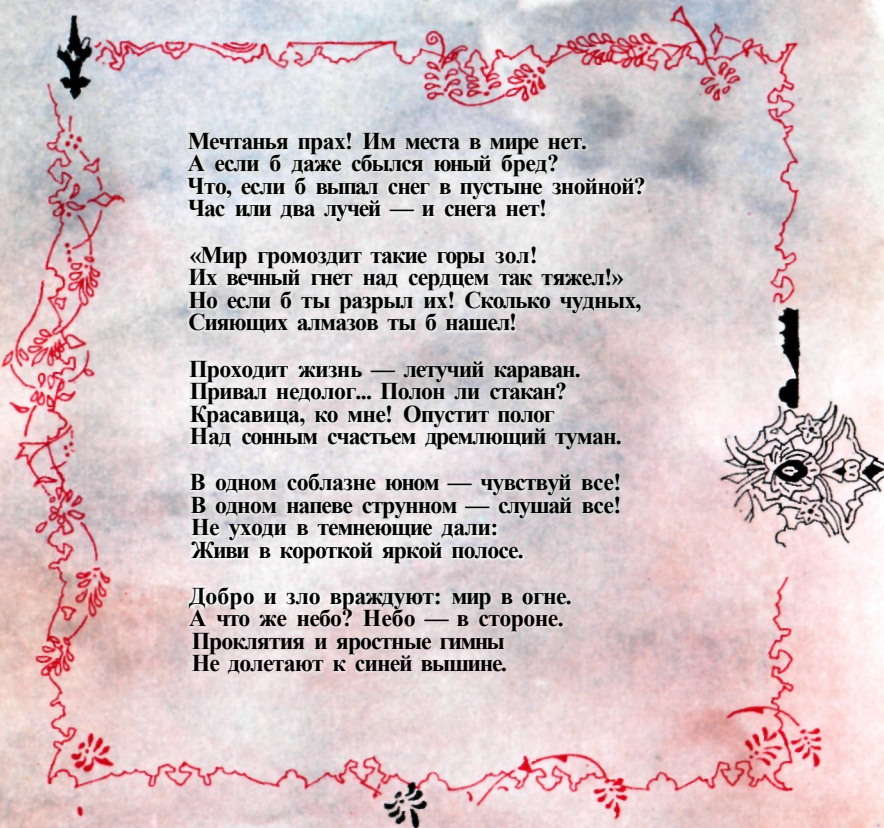
Мир я сравнил бы с шахматной доской:
То день, то ночь... А пешки? — мы с тобой.
Подвигают, притиснут — и побили.
И в темный ящик сунут на покой.

Мир с пегой ключей можно бы сравнить,
А этот всадник, — кем он может быть?
«Ни в день, ни в ночь, — он ни во что не верит!»
— А где же силы он берет, чтоб жить?

Без хмеля и улыбок — что за жизнь?
Без сладких звуков флейты — что за жизнь?
Все, что на солнце видишь, — стоит мало.
Но на пиру в огнях света и жизнь!

Пей! И в огонь весенней кутерьмы
Бросай дырявый, темный плащ Зимы.
Недлинен путь земной. А время — птица.
У птицы — крылья... Ты у края Тьмы.

Умчалась Юность — беглая весна —
К подземным царствам в ореоле сна,
Как чудо-птица, с ласковым коварством,
Вилась, сияла здесь — и не видна...



Мечтанья прах! Им места в мире нет.
А если б даже сбылся юный бред?
Что, если б выпал снег в пустыне знойной?
Час или два лучей — и снега нет!

«Мир громоздит такие горы зол!
Их вечный гнет над сердцем так тяжел!»
Но если б ты разрыл их! Сколько чудных,
Сияющих алмазов ты б нашел!

Проходит жизнь — летучий караван.
Привал недалог... Полон ли стакан?
Красавица, ко мне! Опустит полог
Над сонным счастьем дремлющий туман.

В одном соблазне юном — чувствуй все!
В одном напеве струнном — слушай все!
Не уходи в темнеющие дали:
Живи в короткой яркой полосе.

Добро и зло враждуют: мир в огне.
А что же небо? Небо — в стороне.
Проклятия и яростные гимны
Не долетают к синей вышине.




Кто в чаше Жизни капелькой блеснет, —
Ты или я? Блеснет и пропадет...
А виночерпий Жизни — миллионы
Лучистых брызг и пролил и прольет...

Там, в голубом небесном фонаре, —
Пылает солнце: золото в костре!
А здесь, внизу, — на серой занавеске —
Проходят тени в призрачной игре.

На блеску дней, зажатую в руке,
Не купишь Тайны где-то вдалеке.
А тут — и ложь на волосок от Правды,
И жизнь твоя — сама на волоске.

Хоть превзойдешь наставников умом, —
Останешься блаженным простаком.
Наш ум, как воду, льют во все кувшины.
Его, как дым, гоняют ветерком.

Бог создал звезды, голубую даль,
Но превзошел себя, создав печаль!
Растопчет смерть волос пушистый бархат,
Набьет землю рот... И ей не жаль.



В венце из звезд велик Творец Земли! —
Не истощить, не перечсть вдали
Лучистых тайн — за паузой у Неба
И темных сил — в карманах у Земли!

Мгновеньями Он виден, чаще скрыт.
За нашей жизнью пристально следит.
Бог нашей драмой коротает вечность!
Сам сочиняет, ставит и глядит.

Хотя стройнее тополя мой стан,
Хотя и щеки — огненный тюльпан,
Но для чего художник своенравный
Ввел тень мою в свой пестрый балаган?

Один припев у Мудрости моей:
«Жизнь коротка, — так дай же волю ей!
Умно бывает подстригать деревья,
Но обкорнать себя — куда глупей!»

Дар своевольно отнятый — к чему?
Мелькнувший призрак радости — к чему?
Потухший блеск и самый пышный кубок,
Расколотый и брошенный, — к чему?



Подвижники изнемогли от дум.
А тайны те же сушат мудрый ум.
Нам, неучам, сок винограда свежий,
А им, великим, — высохший изюм!


Живи, безумец!.. Трать, пока богат!
Ведь ты же сам — не драгоценный клад.
И не мечтай — не сговорятся воры
Тебя из гроба выгашить назад!

Что мне блаженства райские — «потом»?
Прошу сейчас, наличными, вином...
В кредит — не верю! И на что мне Слава:
Под самым ухом — барабанный гром?!

Вино не только друг. Вино — мудрец:
С ним разнотолкам, ересям — конец!
Вино — алхимик: превращает разом
В пыль золотую жизненный свинец.

Как перед светлым, царственным вождем,
Как перед алым, огненным мечом —
Теней и страхов черная зараза —
Орда врагов, бежит перед вином!






**Вина! — Другого я и не прошу.
Любви! — Другого я и не прошу.
«А небеса дадут тебе прощенье?»
Не предлагают, — я и не прошу.**

**Над розой — дымка, выющаяся ткань,
Бежавшей ночи трепетная дань...
Над розой щек — кольцо волос душистых...
Но взор блеснул. На губках солнце... Встань!**

**Вилетен мой пыл вот в эти завитки.
Вот эти губы — розы лепестки.
В вине — румянец щек. А эти серьги —
Уколы совести моей: они легки...**

**Ты опьянел — и радуйся, Хайям!
Ты победил — и радуйся, Хайям!
Придет Ничто — прикончит эти бредни...
Еще ты жив — и радуйся, Хайям.**

**В словах Корана многое умно,
Но учит той же мудрости вино.
На каждом кубке — жизненная пропись:
«Прильни устами — и увидишь дно!»**




Я у вина — что ива у ручья:
Поит мой корень пенная струя.
Так бог судил! О чем-нибудь он думал?
И брось я пить, — его подвел бы я!

Взгляни и слушай... Роза, ветерок,
Гимн соловья, на облачко намек...
— Пей! Все исчезло: роза, трель и тучка,
Развеял все неслышный ветерок.

Ты видел землю... Что — земля? Ничто!
Наука — слов пустое решето.
Семь климатов перемены — все то же:
Итог неутоленных дум — ничто!

Блеск диадемы, шелковый тюрбан,
Я все отдам, — и власть твою, султан,
Отдам святошу с четками в придачу
За звуки флейты и... еще стакан!

В учености — ни смысла, ни границ.
Откроет больше тайны взмах ресниц.
Пей! Книга Жизни кончится печально.
Укрась вином мелькание страниц!




Все царства мира — за стакан вина!
Всю мудрость книг — за остроту вина!
Все почести — за блеск и бархат винный!
Всю музыку — за бульканье вина!

Прах мудрецов — уныл, мой юный друг.
Развеена их жизнь, мой юный друг.
«Но нам звучат их гордые уроки!»
А это ветер слов, мой юный друг.

Все ароматы жадно я вдыхал,
Пил все лучи. А женщин всех желал.
Что жизнь? — Ручей земной блеснул на солнце
И где-то в черной трещине пропал.

Для раненой любви вина готовь!
Мускатного и алого, как кровь.
Залей пожар, бессонный, затаенный,
И в струнный шелк запутай душу вновь.

В том не любовь, кто буйством не томим,
В том хвостиник отсырелых дым.
Любовь — костер, пылающий, бессонный...
Влюбленный ранен. Он — неисцелим!




До щек ее добраться — нежных роз?
Сначала в сердце тысячи заноз!
Так гребень: в зубья мелкие изрежут,
Чтоб слаще плавал в роскоши волос!

Не дрогнут ветки... Ночь... Я одинок...
Во тьме роняет роза лепесток.
Так — ты ушла! И горьких опьянений
Летучий бред развеян и далек.

Пока хоть искры ветер не унес, —
Воспламеняй ее весельем лоз!
Пока хоть тень осталась прежней силы, —
Распутывай узлы душистых кос!

Ты — воин с сетью: уловляй сердца!
Кувшин вина — и в тень у дерева.
Ручей поет: «Умрешь и станешь глиной.
Дан ненадолго лунный блеск лица».

«Не пей, Хайям!» Ну, как им объяснить,
Что в темноте я не согласен жить!
А блеск вина и взор лукавый милой —
Вот два блестящих повода, чтоб пить!



Мне говорят: «Хайям, не пей вина!»
А как же быть? Лишь пьяному слышна
Речь гиацинта нежная тюльпану,
Которой мне не говорит она!

Развеселись!.. В плен не поймать ручья?
Зато ласкает беглая струя!
Нет в женщинах и в жизни постоянства?
Зато бывает очередь твоя!

Любовь вначале — ласкова всегда.
В воспоминаньях — ласкова всегда.
А любишь — боль! И с жадностью друг друга
Терзаем мы и мучаем — всегда.

Шиповник алый нежен? Ты — нежней.
Китайский идол пышен? Ты — пышней.
Слаб шахматный король пред королевой?
Но я, глупец, перед тобой слабей!

Любви несем мы жизнь — последний дар!
Над сердцем близко занесен удар.
Но и за миг до гибели — дай губы,
О, сладостная чаша нежных чар!





«Наш мир — аллея молодая роз,
Хор соловьев и болтовня стрекоз».
А осенью? «Безмолвие и звезды,
И мрак твоих распущенных волос...»

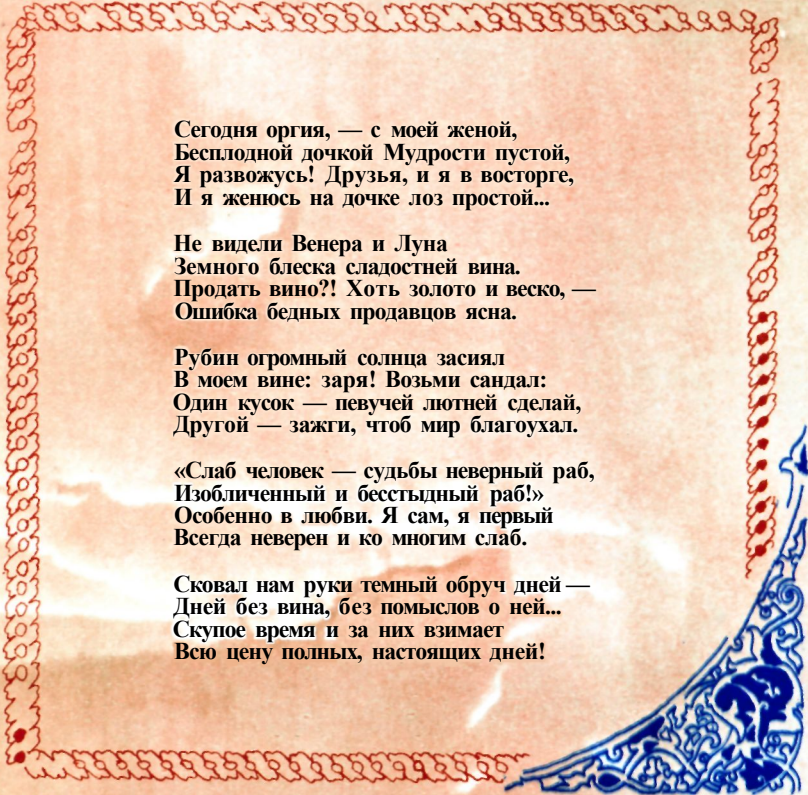
«Стихий — четыре. Чувств как будто пять,
И сто загадок». Стоит ли считать?
Сыграй на лютне, — говор лютни сладок:
В нем ветер жизни — мастер опьянять...

В небесном кубке — хмель воздушных роз.
Разбей стекло тщеславно-мелких грез!
К чему тревоги, почести, мечтанья?
Звон тихий струи... и нежный шелк волос...

Не ты один несчастлив. Не гневи
Упорством Неба. Силы obnovи
На молодой груди, упруго нежной...
Найдешь восторг. И не ищи любви.

Я снова молод. Алое вино,
Дай радости душе! А заодно
Дай горечи и терпкой, и душистой...
Жизнь — горькое и пьяное вино!





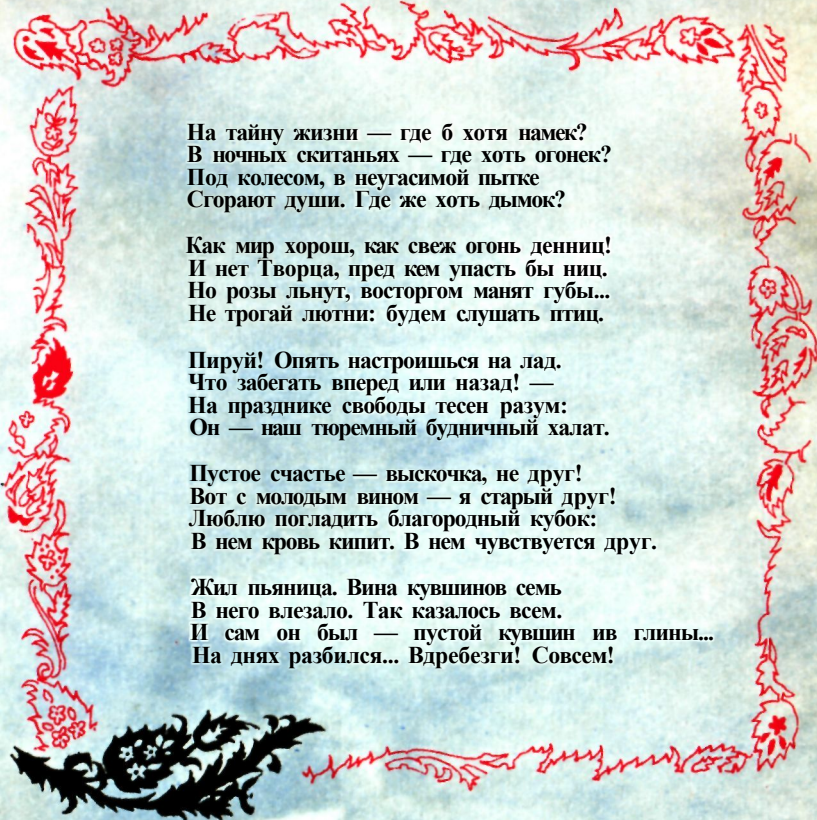
Сегодня оргия, — с моей женой,
Бесплодной дочкой Мудрости пустой,
Я развожусь! Друзья, и я в восторге,
И я женюсь на дочке лоз простой...

Не видели Венера и Луна
Земного блеска сладостней вина.
Продать вино?! Хоть золото и веско, —
Ошибка бедных продавцов ясна.

Рубин огромный солнца засиял
В моем вине: заря! Возьми сандал:
Один кусок — певучей лютней сделай,
Другой — зажги, чтоб мир благоухал.

«Слаб человек — судьбы неверный раб,
Изобличенный и бесстыдный раб!»
Особенно в любви. Я сам, я первый
Всегда неверен и ко многим слаб.

Сковал нам руки темный обруч дней —
Дней без вина, без помыслов о ней...
Скупое время и за них взимает
Всю цену полных, настоящих дней!




На тайну жизни — где б хотя намек?
В ночных скитаньях — где хоть огонек?
Под колесом, в неугасимой пытке
Сгорают души. Где же хоть дымок?

Как мир хорош, как свеж огонь денниц!
И нет Творца, пред кем упасть бы ниц.
Но розы льнут, восторгом манят губы...
Не трогай лютни: будем слушать птиц.

Пируй! Опять настроишься на лад.
Что забегать вперед или назад! —
На празднике свободы тесен разум:
Он — наш тюремный будничный халат.

Пустое счастье — выскочка, не друг!
Вот с молодым вином — я старый друг!
Люблю погладить благородный кубок:
В нем кровь кипит. В нем чувствуется друг.

Жил пьяница. Вина кувшинов семь
В него влезало. Так казалось всем.
И сам он был — пустой кувшин ив глины...
На днях разбился... Вдребезги! Совсем!




Дни — волны рек в минутном серебре,
Песка пустыни в тающей игре.
Живи Сегодня. А Вчера и Завтра
Не так нужны в земном календаре.

Как жутко звездной ночью! Сам не свой,
Дрожишь, затеряв в бездне мировой,
А звезды в буйном головокруженье
Несутся мимо, в вечность, по кривой...

Осенний дождь посеял капли в сад.
Взошли цветы. Пестреют и горят.
Но в чашу лилий брызни алым хмелем —
Как синий дым магнолий аромат...

Я стар. Любовь моя к тебе — дурман.
С утра вином из фиников я пьян.
Где роза дней? Ощипана жестоко.
Унижен я любовью, жизнью пьян!

Что жизнь? Базар... Там друга не ищи.
Что жизнь? Ушиб... Лекарства не ищи.
Сам не меняйся. Людям улыбайся.
Но у людей улыбок — не ищи.




Из горлышка кувшина на столе
Льет кровь вина. И все в ее тепле:
Правдивость, ласка, преданная дружба —
Единственная дружба на земле!

Друзей поменьше! Сам день ото дня
Туши пустые искорки огня.
А руку жмешь, — всегда подумай молча:
«Ох, замахнутся ею на меня!..»

«В честь солнца — кубок, алый наш тюльпан!
В честь алых губ — и он любовью пьян!»
Пируй, веселый! Жизнь — кулак тяжелый:
Всех опрокинет замертво в туман.

Смеялась роза: «Милый ветерок
Сорвал мой шелк, раскрыл мой кошелек,
И всю казну тычинок золотую,
Смотрите, — вольно кинул на песок».

Гнев розы: «Как, меня — царицу роз —
Возьмет торгаш и жар душистых слез
Из сердца выжжет злою болью?!» Тайна!..
Пой, соловей! «День смеха — годы слез».



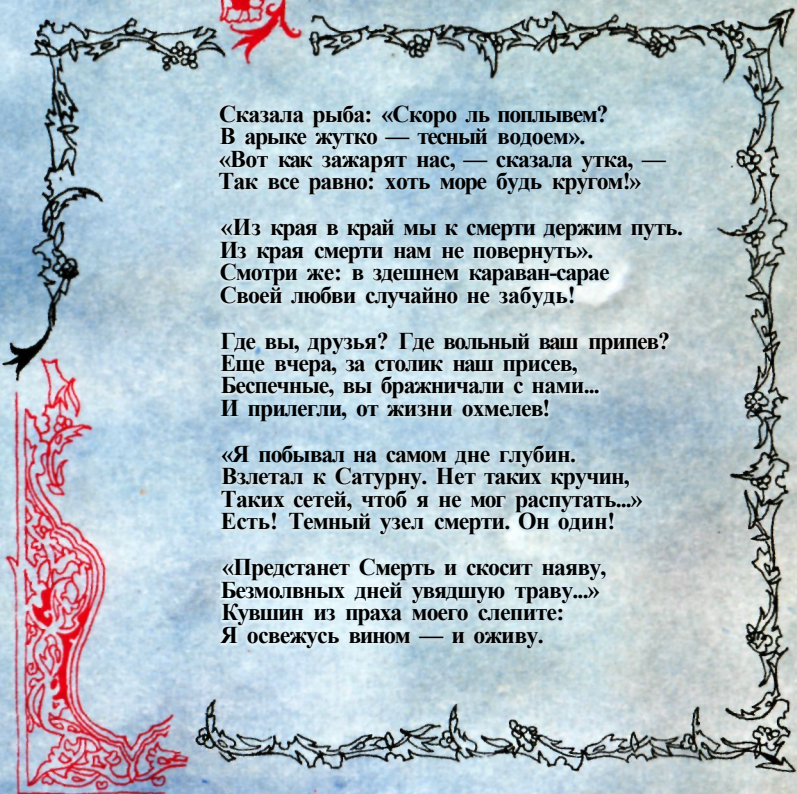
Завел я грядку Мудрости в саду.
Ее лелеял, поливал — и жду...
Подходит жатва, а из грядки голос:
«Дождем пришла и ветерком уйду».

Я спрашиваю: «Чем я обладал?
Что впереди?.. Метался, бушевал...
А станешь прахом, и промолвят люди:
«Пожар короткий где-то отпылал».

— Что песня, кубки, ласки без тепла? —
— Игрушки, мусор детского угла.
— А что молитвы, подвиги и жертвы?
— Сожженная и дряхлая зола.

Ночь. Ночь кругом. Изрой ее, взволнуй!
Тюрьма!» Все он, ваш первый поцелуй,
Адам и Ева: дал нам жизнь и горечь.
Злой это был и хищный поцелуй!

— Как надрывался на заре петух!
— Он видел ясно: звезд огонь потух.
И ночь, как жизнь твоя, прошла напрасно.
А ты проспал. И знать не знаешь — глух.




Сказала рыба: «Скоро ль поплывем?
В арыке жутко — тесный водоем.
«Вот как зажарят нас, — сказала утка, —
Так все равно: хоть море будь кругом!»

«Из края в край мы к смерти держим путь.
Из края смерти нам не повернуть».
Смотри же: в здешнем караван-сарае
Своей любви случайно не забудь!

Где вы, друзья? Где вольный ваш припев?
Еще вчера, за столик наш присев,
Беспечные, вы бражничали с нами...
И прилегли, от жизни охмелев!

«Я побывал на самом дне глубин.
Взлетал к Сатурну. Нет таких кручин,
Таких сетей, чтоб я не мог распутать...»
Есть! Темный узел смерти. Он один!

«Предстанет Смерть и скосит наяву,
Безмолвных дней увядшую траву...»
Кувшин из праха моего слепите:
Я освежусь вином — и оживу.



Гончар. Кругом в базарный день шумят...
Он топчет глину, целый день подряд.
А та угасшим голосом лепечет:
«Брат, пожалей, опомнись — ты мой брат!...»

Сосуд из глины влагой разволнуй:
Услышишь лепет губ, не только струй.
Чей это прах? Целую край — и вздрогнул:
Почудилось — мне отдан поцелуй.

Нет гончара. Один я в мастерской.
Две тысячи кувшинов предо мной.
И шепчутся: «Предстанем незнакомцу
На миг толпой разряженной людской».

Кем эта ваза нежная была?
Вдыхателем! Печальна и светла.
А ручки вазы? Гибкою рукою:
Она, как прежде, шею обвила.

Что алый мак? Кровь брызнула струей
Из ран султана, взятого землей.
А в гиацинте — из земли пробился
И вновь завился локон молодой.

Над зеркалом ручья дрожит цветок;
В нем женский прах: знакомый стебелек.
Не мни тюльпанов зелени прибрежной:
И в них — румянец нежный и упрек...

Сияли зори людям — и до нас!
Текли дугою звезды — и до нас!
В комочке праха сером, под ногою
Ты раздавил сиявший юный глаз.

Светает. Гаснут поздние огни.
Зажглись надежды. Так всегда, все дни!
А свечерет — вновь зажгутся свечи,
И гаснут в сердце поздние огни.

Вовлечь бы в тайный заговор Любовь!
Обнять весь мир, поднять к тебе Любовь,
Чтоб, с высоты упавший, мир разбился,
Чтоб из обломков лучшим встал он вновь!

Бог — в жилах дней. Вся жизнь — Его игра,
Из руги он — живого серебра.
Блеснет луной, засеребрится рыбкой...
Он — гибкий весь, и смерть — Его игра.





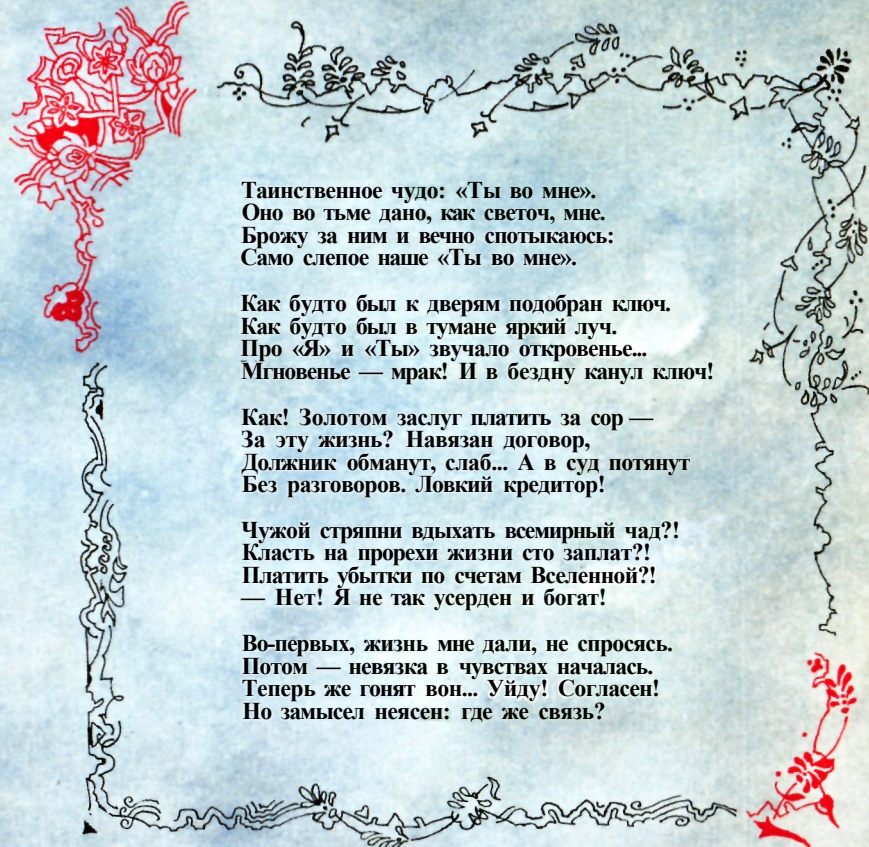
Прощалась капля с морем — вся в слезах!
Смелось вольно Море — все в лучах!
«Взлетай на небо, упадай на землю, —
Конец один: опять — в моих волнах».

Сомненье, вера, пыл живых страстей —
Игра воздушных мыльных пузырей:
Тот радугой блеснул, а этот — серый...
И разлетятся все! Вот жизнь людей.

Один — бегущим доверяет дням,
Другой — туманным завтрашним мечтам,
А муэдзин вещает с башни мрака:
«Глушцы! Не здесь награда, и не там!»

Вообрази себя столпом наук,
Старайся вбить, чтоб зацепиться, крик
В провалы двух пучин — Вчера и Завтра...
А лучше — пей! Не трать пустых потуг.

Влек и меня ученых ореол.
Я смолоду их слушал, споры вел,
Сидел у них... Но той же самой дверью
Я выходил, которой и вошел.




Таинственное чудо: «Ты во мне».
Оно во тьме дано, как светоч, мне.
Брожу за ним и вечно спотыкаюсь:
Само слепое наше «Ты во мне».

Как будто был к дверям подобран ключ.
Как будто был в тумане яркий луч.
Про «Я» и «Ты» звучало откровенье...
Мгновенье — мрак! И в бездну канул ключ!

Как! Золотом заслуг платить за сор —
За эту жизнь? Навязан договор,
Должник обманут, слаб... А в суд потянут
Без разговоров. Ловкий кредитор!

Чужой стряпни вдыхать всемирный чад?!
Класть на прорехи жизни сто заплат?!
Платить убытки по счетам Вселенной?!
— Нет! Я не так усерден и богат!

Во-первых, жизнь мне дали, не спросясь.
Потом — невязка в чувствах началась.
Теперь же гонят вон... Уйду! Согласен!
Но замысел неясен: где же связь?



Ловушки, ямы на моем пути.
Их бог расставил. И велел идти.
И все предвидел. И меня оставил.
И судит тот, кто не хотел спасти!

Наполнив жизнь соблазном ярких дней,
Наполнив душу пламенем страстей,
Бог отречения требует: вот чаша —
Она полна: нагни — и не пролей!

Ты наше сердце в грязный ком вложил.
Ты в рай змею, коварную впустил.
И человеку — Ты же обвинитель?
Скорей проси, чтоб он Тебя простил!

Ты налетел, Господь, как ураган:
Мне в рот горсть пыли бросил, мой стакан
Перевернул и хмель бесценный пролил...
Да кто из нас двоих сегодня пьян?

Я суеверно идолов любил.
Но лгут они. Ничьих не хватит сил...
Я продал имя доброе за песню,
И в мелкой кружке славу утопил.






Казнись, и душу Вечности готовь,
Давай зарюки, отвергай любовь.
А там весна! Придет и вынет розы.
И покаянья плащ разорван вновь!

Все радости желанные — срывай!
Пошире кубок Счастью подставляй!
Твоих лишений Небо не оценит.
Так лейтесь, вина, песни, через край!

Монастырей, мечетей, синагог
И в них трусишек много видел Бог.
Но нет в сердцах, освобожденных солнцем,
Дурных семян: невольничьих тревог.

Вхожу в мечеть. Час поздний и глухой.
Не в жажде чуда я и не с мольбой:
Когда-то коврик я стянул отсюда,
А он истерся. Надо бы другой...

Будь вольнодумцем! Помни наш зарок:
«Святоша — узок, лицемер — жесток».
Звучит упрямо проповедь Хайяма:
«Разбойничай, но сердцем будь широк!»



Льнет к сонной розе ветер, шепчет ей:
«В огне фиалки, встань, затми скорей!
Кто в этот час мудрец? Кто пьет на милой
Звенящий кубок! «Залпом, — и разбей!»

На небе новый месяц: Рамазан!
Никто не любит, и никто не пьян.
Забывтые, в подвалах дремлют вина,
В тени садов подросткам отдых дан.

«Тут Рамазан, а ты наелся днем».
Невольный грех: — Так сумрачно постом,
И на душе так беспросветно хмуро —
Я думал — ночь. И сел за ужин днем.

Окончен пост. Веселье, хохот, крик!
Там — с новой песней сказочник-старик,
А тут — вразнос вином торгуют, счастьем...
Купите хмеля! Золотите миг!

Душа вином легка! Неси ей дань:
Кувшин округло-звонкий. И чекань
С любовью кубок: чтобы в нем сияла
И отражалась золотая грань.



В вине я вижу алый дух огня
И блеск иголок. Чаша для меня
Хрустальная — живой осколок неба.
«А что же Ночь? А Ночь — ресницы Дня...»


Умей всегда быть в духе, больше пей,
Не верь убогой мудрости людей.
И говори: «Жизнь — бедная невеста!
Приданое — в веселости моей».

Да, виноградная лоза к пятам
Моим пристала, на смех дервишам.
Но из души моей, как из металла,
Куется ключ, быть может, — к небесам.

От алых губ — тянись к иной любви.
Христа, Венеру — всех на пир зови!
Вином любви смягчай неправды жизни.
И дни, как кисти ласковые, рви.

Прекрасно — верен набросать полям!
Прекрасней — в душу солнце бросить нам!
И подчинить Добру людей свободных
Прекраснее, чем волю дать рабам.






Будь мягче к людям! Хочешь быть мудрей? —
Не делай больно мудростью своей.
С обидчицей-Судьбой войой, будь дерзок,
Но сам клянись не обижать людей!

Просило сердце: «Поучи хоть раз!»
Я начал с азбуки: «Запомни — «Аз».
И слышу: «Хватит! Все в начальном слогe,
А дальше — беглый, вечный пересказ».

Ты плачешь? Полно. Кончится гроза,
Блеснет алмазом каждая слеза.
«Пусть Ночь потушит мир и солнце мира!»
Как?! Все тушить? И детские глаза?

Закрой Коран. Свободно оглянись
И думай сам. Добром — всегда делись.
Зла — никогда не помни. А чтоб сердцем
Возвыситься — к упавшему нагнись.

Подстреленная птица — грусть моя,
Запрягалась, глухую боль тая.
Скорей вина! Певучих звуков флейты!
Огней, цветов, — шучу и весел я!




Не изменить, что нам готовят дни!
Не накликай тревоги, не темни
Лазурных дней сияющий остаток.
Твой краток миг! Блаженствуй и цени!

Мяч брошенный не скажет: «Нет!» и «Да!»
Игрок метнул, — стремглав лети туда!
И нас не спросят: в мир возьмут и бросят.
Решает Небо — каждого куда.

Рука упрямо чертит приговор.
Начертан он? Конец! И с этих пор
Не сдвинут строчки и не смоят слова
Все наши слезы, мудрость и укор.

Поймал, накрыл нас миской небосклон.
Напуган мудрый. Счастлив, кто влюблен.
Льнет к милой жизни! К ней прильнул устами:
Кувшин над чашей — так над нею он!

Кому легко? Неопытным сердцам.
И на словах — глубоким мудрецам.
А я глядел в глаза жестоким тайнам
И в тень ушел, завидуя слепцам.



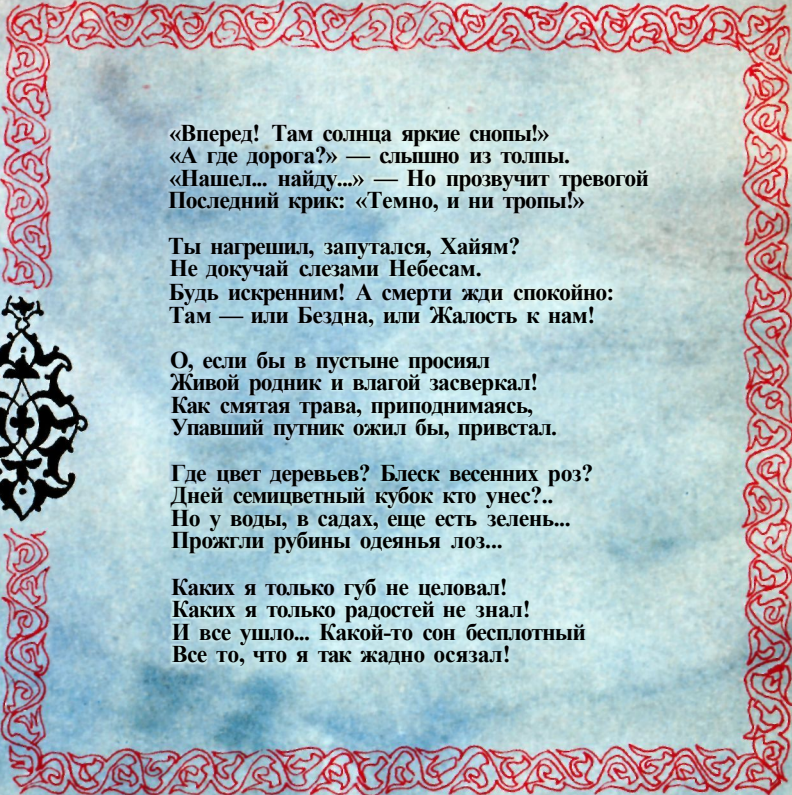
Храни, как тайну. Говори не всем:
Был рай, был блеск, не тронутый ничем
А для Адама сразу неприятность:
Вогнали в грусть и выпнали совсем!

В полях — межа. Ручей, Весна кругом.
И девушка идет ко мне с вином.
Прекрасен Миг! А стань о вечном думать —
И кончено: поджал ты хвост шенком!

Вселенная? — взор мимолетный мой!
Озера слез? — все от нее одной!
Что ад? — Ожог моей душевной муки.
И рай — лишь отблеск радости земной!

Наполнить камешками океан
Хотят святоши. Безнадежный план!
Пугают адом, соблазняют раем...
А где гонцы из этих дальних стран?

Не правда ль, странно? — сколько до сих пор
Ушло людей в неведомый простор
И ни один оттуда не вернулся.
Все б рассказал — и кончен был бы спор!




«Вперед! Там солнца яркие снопы!»
«А где дорога?» — слышно из толпы.
«Нашел... найду...» — Но прозвучит тревогой
Последний крик: «Темно, и ни тропы!»

Ты нагрешил, запутался, Хайям?
Не докучай слезами Небесам.
Будь искренним! А смерти жди спокойно:
Там — или Бездна, или Жалость к нам!

О, если бы в пустыне просиял
Живой родник и влагой засверкал!
Как смятая трава, приподнимаясь,
Упавший путник ожил бы, привстал.

Где цвет деревьев? Блеск весенних роз?
Дней семицветный кубок кто унес?..
Но у воды, в садах, еще есть зелень...
Прожгли рубины одеянья лоз...

Каких я только губ не целовал!
Каких я только радостей не знал!
И все ушло... Какой-то сон бесплотный
Все то, что я так жадно осушал!

A decorative border of black line art flowers and leaves surrounds the text. A red decorative ornament is on the right side.

Кому он нужен, твой унылый вздох?
Нельзя, чтоб пир растерянно заглох!
Обещан рай тебе? Так здесь устройся,
А то расчет на будущее плох!

Вниманье, странник! Ненадежна даль.
Из рук зменится огненная сталь.
И сладостью обманно-горькой манит
Из-за ограды ласковый миндаль.

Среди лужайки — тень, как островок,
Под деревцом. Он манит, недалек!..
Стой, два шага туда с дороги пыльной!
А если бездна ляжет поперек?

Не евши яблок с дерева в раю,
Слепой щенок забился в щель свою.
А съевшим видно: первый день творенья
Завел в веках пустую толчею.

На самый край засеянных полей!
Туда, где в ветре тишина степей!
Там, перед тронем золотой пустыни,
Рабам, султану — всем дышать вольней!



Встань! Бросил камень в чашу тьмы Восток!
В путь, караваны звезд! Мрак изнемог...
И ловит башню гордую султана
Охотник-Солнце в огненный силок.

Гончар лепил, а около стоял
Кувшин из глины: ручка и овал...
И я узнал султана череп голый,
И руку, руку нищего узнал!

«Не в золоте сокровище, — в уме!»
Не бедный жалок в жизненной тюрьме!
Взгляни: поникли головы фиалок,
И розы блекнут в пышной бахrome.

Султан! При блеске звездного огня
В века седлали твоего коня.
И там, где землю тронет он копытом,
Пыль золотая выбьется звеня.

«Немного хлеба, свежая вода
И тень...» Скажи, но для чего тогда
Блистательные, гордые султаны?
Зачем рабы и нищие тогда?


Вчера на кровлю шахского дворца
Сел ворон. Череп шаха-гордеца
Держал в когтях и спрашивал: «Где трубы?
Трубите шаху славу без конца!»

Жил во дворцах великий царь Байрам.
Там ящерицы. Лев ночует там.
А где же царь? Ловец онагров диких
Навеки пойман — злейшею из ям.

Нас вразумить? Да легче море сжечь!
Везде, где счастье, — трещина и течь!
Кувшин наполнен? Тронешь — и прольется.
Бери пустой! Спокойнее беречь.

Земная жизнь — на миг звенящий стон.
Где прах героев? Ветром разметен,
Клубится пылью розовой на солнце...
Земная жизнь — в лучах плывущий сон.

Распил Хайям для Мудрости шатер, —
И брошен Смертью в огненный костер.
Шатер Хайяма Ангелом порублен,
На песни продан золотой узор.




Огней не нужно, слуги! Сколько тел!
Переделались... А лица — точно мел.
В неясной тьме... А там, где Тьма навеки?
Огней не нужно: праздник отшумел!

Конь белый Дня, конь Ночи вороной,
Летят сквозь мир в дворец мечты земной:
Все грезили его недолгим блеском!
И все очнулись перед нищей Тьмой!

Не смерть страшна. Страшна бывает жизнь,
Случайная, навязанная жизнь...
В потемках мне подсунули пустую.
И без борьбы отдам я эту жизнь.

Познай все тайны мудрости! — А там?..
Устрой весь мир по-своему! — А там?..
Живи беспечно до ста лет счастливец...
Протянешь чудом до двухсот..! — А там?..

Земля молчит. Пустынные моря
Вздыхают, дрожью алою горя.
И круглое не отвечает небо,
Все те же дни и звезды нам даря.



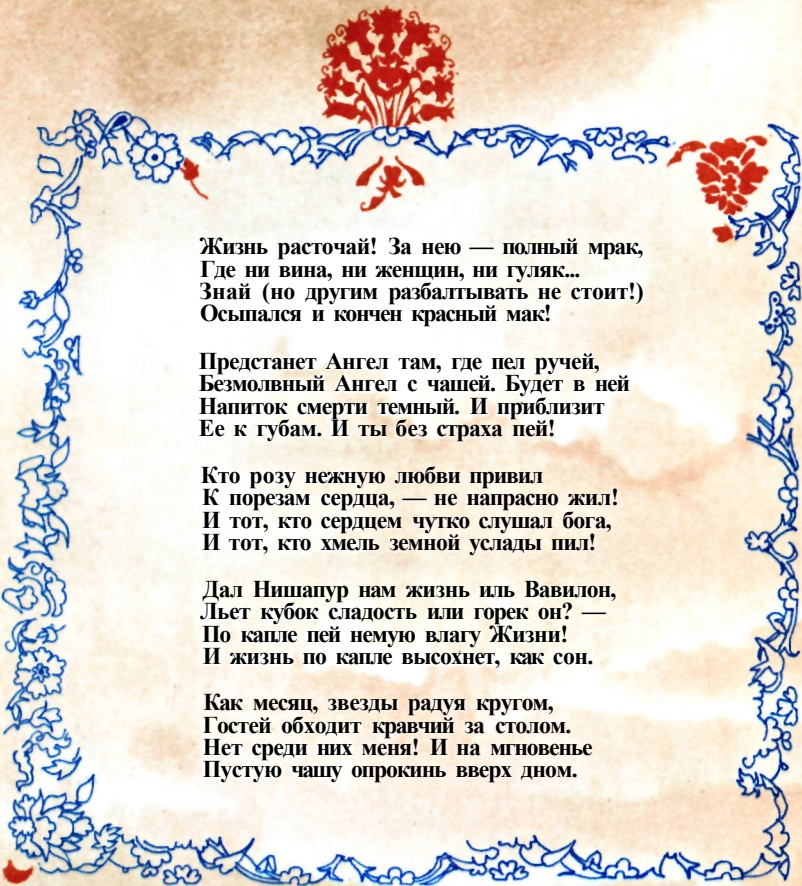
О чем ты вспомнил? О делах веков?
Истертый прах! Заглохший лепет слов!
Поставь-ка чашу — и вдвоем напьемся
Под тишину забывчивых миров!

Дождем весенним освежен тюльпан.
А ты к вину протягивай стакан.
Любуйся: в брызгах молодая зелень!
Умрешь — и новый вырастет тюльпан!

Жизнь отвечает, горестно легка...
Осыплется от первого толчка...
Пей! Хмурый плащ — Луной разорван в вебе!
Пей! После нас — Луне сиять века...

Вино, как солнца яркая стрела:
Пронзенная, зашевелится мгла,
Обрушен горя снег обледенелый!
И даль в обвалах огненно светла!

Ночь на земле. Ковер земли и сон.
Ночь под землей. Навес земли и сон.
Мелькнули тени, где-то заронились —
И скрылись вновь. Пустыня... тайна... сон.



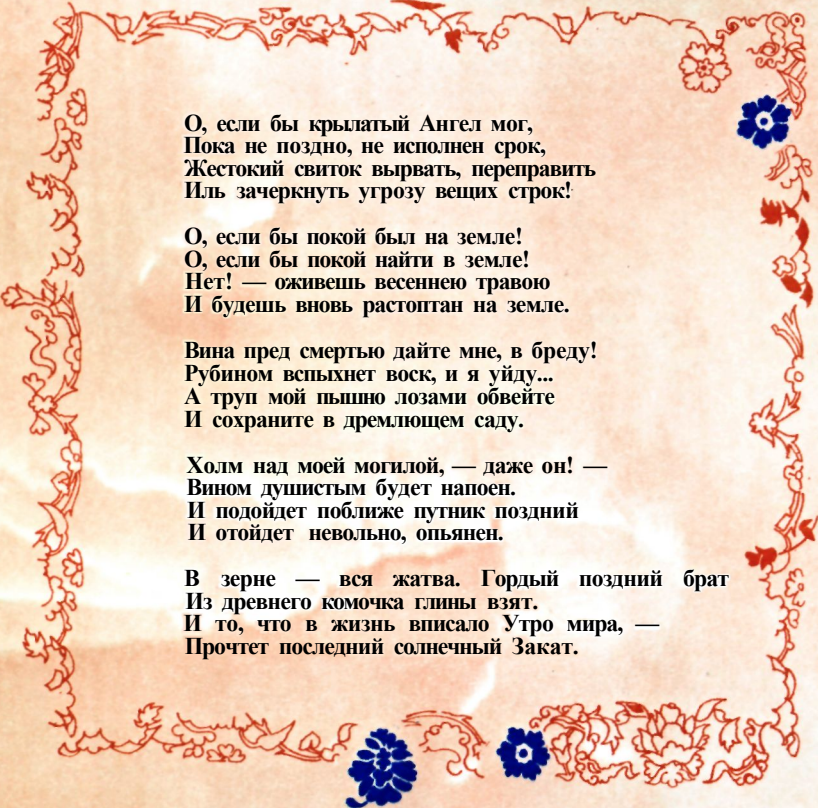
Жизнь расточай! За нею — полный мрак,
Где ни вина, ни женщин, ни гуляк...
Знай (но другим разбалтывать не стоит!)
Осыпался и кончен красный мак!

Предстанет Ангел там, где пел ручей,
Безмолвный Ангел с чашей. Будет в ней
Напиток смерти темный. И приблизит
Ее к губам. И ты без страха пей!

Кто розу нежную любви привил
К порезам сердца, — не напрасно жил!
И тот, кто сердцем чутко слушал бога,
И тот, кто хмель земной услады пил!

Дал Нишапур нам жизнь иль Вавилон,
Льет кубок сладость или горек он? —
По капле пей немую влагу Жизни!
И жизнь по капле высохнет, как сон.

Как месяц, звезды радуга кругом,
Гостей обходит кравчий за столом.
Нет среди них меня! И на мгновенье
Пустую чашу опрокинь вверх дном.




О, если бы крылатый Ангел мог,
Пока не поздно, не исполнен срок,
Жестокый свиток вырвать, переправить
Иль зачеркнуть угрозу веших строк!

О, если бы покой был на земле!
О, если бы покой найти в земле!
Нет! — оживешь весеннею травою
И будешь вновь растоптан на земле.

Вина пред смертью дайте мне, в бреду!
Рубином вспыхнет воск, и я уйду...
А труп мой пышно лозами обвейте
И сохраните в дремлющем саду.

Холм над моей могилой, — даже он! —
Вином душистым будет напоен.
И подойдет поближе путник поздний
И отойдет невольно, опьянен.

В зерне — вся жатва. Гордый поздний брат
Из древнего комочка глины взят.
И то, что в жизнь вписало Утро мира, —
Прочтет последний солнечный Закат.



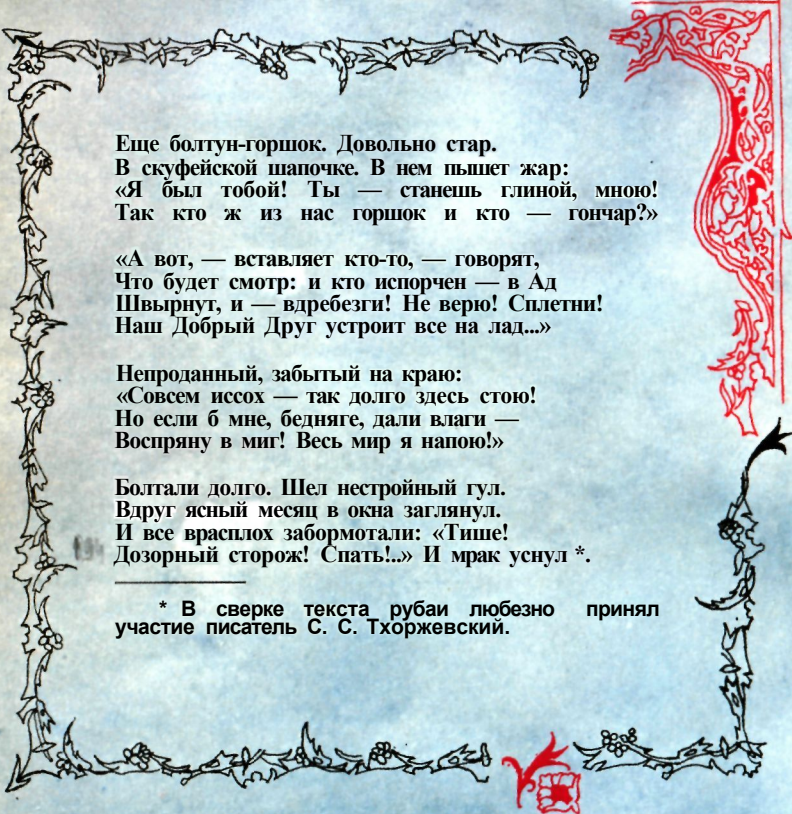
День утопает в сумерках. Немой
И постный день! Я в лавке-мастерской
У гончара. Изделия из глины...
И я один с их странною толпой.

Их множество! На полках, на полу...
Большие, малые... Сквозь полумглу
Я плохо вижу. Различаю шепот.
Но есть совсем безмолвные в углу.

Кувшин храбрится: «Да, я из земли!
Но раз меня оттуда извлекли,
Раз дали форму, блеск — не с тем, конечно,
Чтоб снова сделать глыбою земли!»

Другой спокоен: «Даже будь сердит,
Раз на столе кувшин с вином стоит,
Не разобьешь! Чтоб тот, кто сам же лепит,
Стал разбивать? Не Может быть! Грозит!»

Молчание. И вздох исподтишка
Нескладного шербатого горшка:
«Все надо мной смеются... Кто ж виною,
Что дрогнула у мастера рука?»



Еще болтун-горшок. Довольно стар.
В скуфейской шапочке. В нем пышет жар:
«Я был тобой! Ты — станешь глиной, мною!
Так кто ж из нас горшок и кто — гончар?»

«А вот, — вставляет кто-то, — говорят,
Что будет смотр: и кто испорчен — в Ад
Швырнут, и — вдребезги! Не верю! Сплетни!
Наш Добрый Друг устроит все на лад...»

Непроданный, забытый на краю:
«Совсем иссох — так долго здесь стою!
Но если б мне, бедняге, дали влаги —
Воспряну в миг! Весь мир я напою!»

Болтали долго. Шел нестройный гул.
Вдруг ясный месяц в окна заглянул.
И все врасплох забормотали: «Тише!
Дозорный сторож! Спать!...» И мрак уснул*.

* В сверке текста рубаи любезно принял участие писатель С. С. Тхоржевский.



ОБ АВТОРЕ

Георгий Дмитриевич Гулиа родился 14 марта 1913 года в Сухуме. По образованию инженер-путеец, работал на строительстве Черноморской железной дороги. Занимался журналистикой, графикой, живописью. В 1943 году Г. Гулиа, как художнику, было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР.

Член КПСС с 1940 года.

Печатается Г. Гулиа с 1930 года. Он автор рассказов, повестей, романов, юморесок. Его первая повесть — «На скате», затем идут «Месть» (1936), «Рассказы у костра» (1937) и другие.

Георгий Гулиа хорошо знает жизнь родной Абхазии, ее людей, ее историю. Тема Абхазии как бы пронизывает все творчество писателя, даже когда он пишет о глубокой древности других стран.

Нашей современности посвящены повести «Леночка», «Каштановый дом», «Скурча уютная», роман «Пока вращается земля», «Повесть о моем отце». Повесть «Черные гости» и роман «Водоворот» рисуют Абхазию XIX века, а романы «Фараон Эхнатон», «Человек из Афин» и «Сулла» — жизнь Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима.

За литературную деятельность Георгий Гулиа награжден орденом Трудового Красного Знамени и тремя орденами «Знак Почета», а также болгарским орденом Кирилла и Мефодия I степени. В 1949 году ему

присуждается Государственная премия за повесть «Весна в Сакене», позже вошедшую в трилогию «Друзья из Сакена». Г. Гулиа заслуженный деятель искусств Абхазии, а за книгу «Повесть о моем отце» ему присуждена в 1974 году литературная премия Абхазской АССР имени Д. Гулиа.

В 1974—1975 годах издательство «Художественная литература» издает Собрание сочинений Георгия Гулиа в 4-х томах.





СОДЕРЖАНИЕ

Читающему эту книгу	3
Сказание об Омаре Хайяме. Роман	7
Омар Хайям. Рубаи	257
Об авторе	300

Г94 **Гулиа Г. Д.**
Сказание об Омаре Хайяме. Роман. Художник
Б. Жутовский. М., «Молодая гвардия», 1975.

304 с. с ил.

Омар Хайям — всемирно известный поэт, философ, астроном, математик, жил девять веков тому назад. Не будет преувеличением сказать, что он любим во всех странах. Роман Г. Гулиа основан на достоверных фактах, хотя дошло их до нас не очень много.

Г 70302—224 148—74

078(02)—75

P2

Георгий Дмитриевич Гулиа

СКАЗАНИЕ ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ

Редактор **Л. Хотиловская**

Художественный редактор **В. Недогонов**

Технический редактор **Г. Прохорова**

Корректоры: **З. Харитоновна, А. Долидзе**

Сдано в набор 3/XII 1974 г. Подписано к печати 15/VIII 1975 г.
A08202. Формат 70X108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л. 9,5 (усл. 13,3).
Уч.-изд. л. 13. Тираж 150 000 экз. (1-й завод 75 000 экз.).
Цена 64 коп. Т. П. 1974 г., № 148. Заказ 2279.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес
издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сушев-
ская, 21.